

Надежда  
КУСКОВА

г. Мышкин

# На Косогоре у Дюмихи

## ГДЕ НЕ СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА

Папа любил сюрпризы. «Сегодня пойдем туда, где не ступала нога человека», – за завтраком объявил он. Мы с сестрой заволновались. Путешествовать мы любили.

Недавно я вернулась от бабушки, ездила за пятнадцать километров на велосипеде одна, не зная дороги, запомнив только названия деревень, через которые нужно проезжать. Женщины средних лет, а к другим я и не обращалась, охотно показывали мне путь, шли за околицу, волновались: не заблудись! От Введенья до Евлановской дорога, едва пробитая тележными колесами, лежала через глухой еловый лес, мохнатые лапы деревьев низко нависали над головой, образуя темно-зеленый свод. Я двигалась, немного оглушенная тишиной, было темно, таинственно и нисколько не страшно. И все же там, хоть и изредка, ступала нога человека.

А здесь такое приключение. Да и просто по грибы я любила с папой ходить. Остановится у каких-нибудь невзрачных зарослей у болотца и посылает посмотреть. Продерешься сквозь мелкий осинник, а там буроголовые подосиновики из зем-

ли прут. Присядешь над первым – в нос ударит запах земли, прелых листьев, но всё перебивает крепкий грибной дух. Начнешь подрезать хрусткую, чернеющую на срезе ножку, в азарте оглянешься: как там папа. Да не увидишь, деревья мешают, но всё равно я знаю, он улыбается, радуясь моей первозданной радости.

Туда, где не ступала нога человека, мы шли недолго, хотя папа и придерживал свой размашистый шаг, мама не успевала за ним своими маленькими ножками.

Глобочки, так в Архангельском называли тропинки, были неторными, но, в общем, знакомыми. Наконец вышли на поляну, здесь я и правда ни разу не была. Вся она была усеяна кочками черничника, на другом конце поляны возвышалась старая ель. Мне здесь не понравилось: какие на кочках грибы? Мама пошла осматривать место под ёлкой, а я наклонилась за черникой и увидела что-то розовеющее сквозь зелень, разгребла мох, и на свет вылупилась нежная, с овальными бахромчатыми краями волнушка. Рядом другая, третья. Трубочатые ножки хрустко отламывались у основания шляпки. Я на корточках, впадая в тихий

азарт, двигалась от одного куста черники к другому, пока не наткнулась на след мотоцикла. Мама обнаружила след вместе со мной. «Лёня, – позвала она. – Здесь уже кто-то был».

Папа, похоже, тоже давно уже разглядел следы мотоцикла и остановился над ежонком, разодраным по бархатистому брюшку собачьими зубами.

«Чего он собаку не держит, – высказался он об охотнике. – Тоже нашел дичь – ёжика». На нас он не смотрел. Всё-таки он очень любил поражать нас необычным, а тут не получилось. Впервые я остро пожалела папу.

Накануне мы, играя с моей деревенской подружкой Алькой, не поделили куклы. Она схватила мою новехонькую матрёшку и описала. Краски облезли, а если бы и нет, то играть ею было бы противно. Такую обиду выдержать было невозможно.

«Сопливая!» – выкрикнула я в бессилии и полетела домой. Алька и вправду была вечно простуженная, под её широким носом на длинной красной губе всегда красовались сопли, которые она время от времени смахивала языком. Впрочем, когда мы дружили, я этого почему-то не замечала. А сейчас, когда было нестерпимо обидно, эта особенность в первую очередь глаза и мозолила. Благополучно причалив уже к своему крыльцу, я услышала непонятное и страшное. «Безрукий, безрукий, безрукий», – без передышки орала Алька.

Утром следующего дня я обо всём забыла за грибными хлопотами. И вот сейчас, стоя на полянке и глядя на чуть смущенного папу, я поняла, что значат вчерашние ужасные слова. Папа – инвалид, у него нет правой руки. Потому что его ранило на фронте в одном из первых боев. А я не видела, как ему трудно, потому что он умел всё: управлять мотоциклом, косить, плотничать. Не видела до этого случая с Алькой. И я пожалела его той щемящей жалостью, от которой буду просыпаться ночами, терзаясь: мои родители могут умереть, как мог папа на поле боя, если бы к нему на несколько минут опоздала помощь. Без них я не хотела жить.

#### У КАМУШКА ВОЗЛЕ СЕЛЬСОВЕТА

**М**ои родители огребают рой на пасеке. Стоит жаркий июньский полдень. Даже не подходя близко к огороду, слышен мощный пчелиный гул. Роевание – это размножение пчелиной семьи, когда старая матка уводит от улья на новое место, километра за три и дальше, часть молодёжи. Перед отлётом новая семья присаживается плотным клубом где-то рядом с пасекой – на изгородь или на ветки деревьев. Здесь-то и нужно не прозевать,

побрызгать на пчёл водой с веника и начинать стряхивать жужжащие комья в короб – роевню. А что не поддаётся такому сбору, счищать специальной щёткой. Пчелы во время роевания неагрессивны, но если их растревожить, нечаянно раздавить одну-другую, могут изжалить. Был в селе такой случай, ужалила в переносицу малыша пчела, через полчаса у него затекли веки так, что закрылись глаза, и он до вечера ходил, как слепой.

Огород, где стоят ульи, под окнами нашего дома. Уследить слетевший рой не составляет труда, если у родителей не было бы целой вереницы других дел. В обед мама ходила доить корову в стадо. Иногда брала меня с собой, чтобы я веткой отгоняла оводов. Когда возвращались, папа говорил: «Лучше бы ты, Лида, сегодня корову не доила, снова рой улетел». Папа, потомственный пчеловод, был уверен, что пчелы пропасть семье не дадут, но следить за пасекой всё время тоже не мог: он был директором семилетки, и у него каждое лето случались то ремонты, то стройка.

Пасечников в нашей округе в те годы было немного, и о моде подманивать чужие рои тогда еще было не слышно. Так что наши беглянки просто дичали. Один раз мы нашли диких пчёл в отдалённом лесу, Острове, куда отправились собирать сладкие яблоки, замеченные с прошлого года на дикой яблоне.

Мы, несмотря на благодатный день, на то, что венки из одуванчиков оставались недоплетёнными, забрались, от греха подальше, домой к Вале. Валя – ровесница моей сестры, жила за стенкой вместе со своей мамой, учительницей. Кухня у наших соседей поменьше, чем у нас, а в остальном всё так же: деревянный стол, длинная лавка для вёдер с чистой водой, раскладистая русская печь. Валька угощает нас супом из печки, мы давным-давно вышли из того возраста, когда ждут мамино угощенье. Если родители заняты, а они заняты всегда, то бери из печки что приготовлено и наворачивай. Благо в печи за устьем, возле красных углей, всегда есть и суп, и каша, и тушёнка томится.

Замечаем, что в сельсовете, который стоит окнами в окна с кухней, где мы едим, неподвижно, подперев щеку рукой, сидит Степан Григорьевич, глава местной власти. Он не шелохнулся за всё время нашего обеда. И это тем более удивительно, что наши родители за весь длинный день ни на минуту не присядут.

Следим за ним с некоторым неодобрением, потому Валя предполагает ехидно: «Наверно, голодный, нам завидует», – и протягивает, дразнясь, к окну пустую тарелку. Мы с сестрой подхватываем: «Голодный, голодный», – и тоже тычем пусты-

ми тарелками в окно. Степан Григорьевич всё так же монументален и продолжает смотреть куда-то мимо. Это выше наших сил. «Ж... ему показать», – выкрикиваю я в отчаянии. «Слабо?» – разом выдыхают старшие. Я настроена решительно, Степан Григорьевич мне никогда не нравился, высокомерный, скучный дядька, но сегодня он превзошел сам себя, мы для него, равнодушного, не существуем вообще.

Выбегаем на тропинку, ведущую от дома к сельсовету, встаём к камушку, похожему на большой диван, здесь мы часто играем, я стягиваю с себя сатиновые трусишки и, повернувшись задом, наклоняюсь и показываю то, что всегда должно быть прикрыто. Боже, только тут я поняла, каким позором покрываю себя.

Степан Григорьевич не шевелится. А я от камушка под дружный смех девчонок убегаю за сарайки в жирные раскидистые лопухи, где всегда прячусь от чужих глаз. А сейчас все глаза мне кажутся чужими...

Вглядываясь в тот яркий, пышущий зноем день, я пытаюсь понять, что побудило тихую и послушную дошкольницу отважиться на такой смешной и некрасивый жест, одного безделья Степана Григорьевича тут явно мало. И теперь смутно припоминаю, что слышала обрывки разговоров взрослых о восстании крестьян в восемнадцатом году. О том, как пришли они толпой к сельсовету власть свергать, а главный сельсоветчик сбежал в болото отсиживаться. Пошумели, покричали. Мальчишка шестнадцатилетний Федя из револьвера вверх стрелянул. На том и разошлись.

Приехали в село каратели, приговорили трёх зачинщиков к расстрелу, тот Федин револьвер тоже не забыли. Отец мальчишки, Карп Федорович, от нашего сельсоветского камушка до деревни Левинской, когда сынишку на смерть вели, всю дорогу на коленях полз, умоляя пощадить сына, а казнить его, старика. Не пожалели. К трем могилам за околицей не велено под страхом наказания подходить. Но те холмы не сровнялись с землей и до сих пор.

Конечно, в детстве я думала, что Степан Григорьевич как раз и вызвал отряд карателей. Может, потому и решилась на отчаянный поступок против представителя власти? И лишь позднее узнала, что он тогда только на свет появился. Как и то, что Федя мне приходится троюродным дедушкой.

О крестьянском восстании 1918 года устных рассказов бытовало немало... Конечно, передавались они шёпотом, даже в семье. О том, что мой дед по отцу, Александр Максимович, даже пытался вместе с другими некоузскими мужиками брать штурмом город Рыбинск. Впрочем, до

крайности дело не дошло. От самого деда услышать эту историю я не могла: он погиб задолго до моего рождения, в 1945 году, освобождая Югославию. На фронт он попросился добровольцем. Зато много рассказывал папа.

Собрались в восемнадцатом году мужики некоузские, как они говорили, «Рыбну брать», погрузились на поезд – целый эшелон повстанцев. У кого ружьё, у кого наган ещё с Первой мировой. Главного, кто взялся бы командовать этой армией, не нашлось, возмущение было стихийным. И когда в Тихменеве прошёл по вагонам слух, что навстречу поезду движется другой, с красными карателями, мужики посыпались с подножек, как осенние листья. Болотами да чащобами добирались к своим домам. А оружие в пруду затопили. Но в родной отцовской деревне, Евлановской, каратели тогда никого не тронули.

Да только позже кары от «народной» власти никто почти не избежал. В 1931 году семью Кусковых раскулачили. Припомнили колбасный цех, организованный мужиками на паях. Боком вышел крестьянам план кооперации в деревне. Сиротку Лизу, выращенную вместе с родными детьми, представили как наёмную рабочую силу. И отправили дедушку Александра Максимовича на три года под станцию Буй лес валить.

В память о восстании, о деде и другой родне, исчезнувшей из деревни Евлановской, у нас дома за портретом хранился шестизарядный револьвер «бульдог», доставшийся папе от дяди Фавста, брата Александра Максимовича, тоже в восемнадцатом году собиравшегося «Рыбну брать». Знать, не всё оружие в пруд мужики побросали.

На исходе 60-х годов моя сестра подарила эту реликвию своему знакомому, приехавшему на побывку бравому десантнику. А позднее и тот камень, что лежал у сельсовета, строители закопали в дорогу, когда её покрывали бетонными плитами.

## СМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ

Мы с папой после вечерней поливки огорода сидим на крыльце, я мою ноги в тазике. Комары облепляют тело, я совсем было собираюсь улизнуть домой, как вижу, что по узенькой тропке от безымянного ручейки, разделяющего село на две неравные половины, к нашему дому идёт тётя Паша, прямая старуха в опрятном платочке, с палкой в руке. На сгибе локтя другой руки у неё болтается круг копчёной колбасы, в кулаке зажата четвертинка. Не доходя до крыльца, она бухается на колени – курица, рывшаяся в пыли, растопырив

крылья, с шумом отбегает в сторону. Старуха вытягивает руку с колбасой и водкой вперёд, я вижу, правый глаз у неё косит больше, чем обычно, и говорит, обращаясь к папе тоненьким, почти детским голоском: «Леонид Александрович, кормилец, спасибо. Это тебе с первой пенсии»

Папа, покраснев от смущения, торопится поднять тётю Пашу с колен. Мама, подойдя к нам с полным подойником молока, она была в сарайке у коровы, сразу, оценив ситуацию, говорит укоризненно: «Тётя Паша, что же ты нас срамишь, что же люди подумают». Старушка плачет, у мамы тоже наворачиваются на глаза слёзы. Она рада: наконец-то её нянюшка не будет бедовать. Папа собрал справки и подтверждения свидетелей, о том, что старушка всю жизнь жила в няньках. Растила чужих детей. Теперь не нужно ждать, пока за её труд расплатятся хозяева, часто почти такие же бедняки, как и она сама. За то, что растила маму, мой дед привёз старушке, сам уже старый, узел пшеницы лишь через двадцать восемь лет, когда собрался со средствами.

Тёте Паше за годы кочевания по чужим домам удалось всё же скопить немного денег и купить маленькую келейку за церковью Михаила Архангела, на косогоре над безымянным ручьём. Ехидные языки на селе утверждают, что здесь живут Христовы невесты.

Через дорогу от тёти Паши в домушке чуть побольше коротает дни Арсентьевна, сгорбленная чуть не до земли, всегда готовая на гнев и ругань бабка. Она ходит по селу с клюшкой, часто грозит ею нам, ребятам. Мы её побаиваемся, кто-то из взрослых называет её колдуньей. А вот другая тётя Пашина соседка, их кельи в одном ряду, тётя Катя, белолицая и пышная, как булка, выдвинулась из ряда келейниц совсем неожиданным образом.

Жила она тоже, как соседки, своим хозяйством. Держала козу, маленький огород. Всегда чисто одетая, гордилась своей пронесённой через всю жизнь непорочностью. Может, она одна из всех была когда-то Христовой невестой, монахиней. Она часто повторяла: «Бойся мужского плеча, как острого меча». А мужское плечо появилось рядом, когда, казалось, было уже нечего бояться.

Тёте Кате перевалило за шестьдесят, и она взяла в свою келью квартирантом молодого учителя Бурова. Был он кудряв, худ, бледен, прихрамывал на правую ногу от перенесённого в детстве полиомиелита. Он преподавал в Архангельской семилетке русский язык, литературу и пение, хорошо играл на баяне.

Почти год жил Буров у келейницы. Та уступила квартиранту свою кровать, сама стала спать на пе-

чи, подкармливала учителя парным козьим молоком да пшеничными пышками из муки собственного помола. Не жалела старые руки, в три захода прокручивала через тяжёлые жернова зерно. Щёки у Бурова порозовели, налились жирком, стал он повеселее. На уроках пения классный хор выводил вслед за ним не заунывное «Караваны птиц надо мной летят», а бодрое «Здравствуй, земля целинная». В такт мелодии он притоптывал здоровой ногой. Получалось и совсем энергично.

Как-то, возвращаясь из школы майским днём по не совсем ещё высохшей, жирной от грязи тропинке, я заметила у магазина двух старух. Сгорбленная Арсентьевна, пытаюсь распрямиться, грозилась клюшкой и выговаривала потерянной тётю Кате: «Грех-то какой, грех!» Та возражала не совсем уверенно: «Наговоры».

Арсентьевна была права. Тётя Катя полюбила Бурова. Но счастье так поздно заглянуло в её избушку! Вместе со стороны они смотрелись комично: пожилая прислужница из храма и молодой болезненный учитель. Поэтому долгое время об этой связи никто и не подозревал. Как молоденькая, в урочное время выходила келейница на лавочку, посматривая, не идёт ли её Сашенька от школы мимо церкви по старому кладбищу, от которого остались одни холмики без крестов, к её дому. Пыталась один раз, когда он плохо позавтракал, в учительскую пшеничные булочки принести. Но он так застеснялся перед коллегами, убежал в класс, не сказав доброго слова, что она больше не посмела прилюдно проявлять свою нежность.

Нежность утаить ещё было можно, а вот ревность стала рваться у старухи наружу против воли: познакомился Буров с приехавшей в Архангельское на работу фельдшерницей Зиной. Стал захаживать после уроков на медпункт. Задержался ненадолго, а тётя Катя уже за таблетками от головной боли прилетела. А сама так требовательно и моляще смотрит на Бурова, что он, наскоро попросившись с Зиной, спешит в келью: не проговорилась бы Христова невеста.

Когда квартирант первый раз остался за перегородкой медпункта ночевать с разлучницей, тётя Катя не спала всю ночь, смотрела сухими глазами на близкий сучок в потолке, её сотрясала крупная нервная дрожь. Изменщик явился только к обеду. Услышав в коридоре неровные осторожные шаги, тётя Катя нащупала под рукой опорок и приподнялась. Вот Саша открыл дверь, подошёл к столу. Она с плачем, переходящим в звериный вой, метнула обрезанный валенок в того, кто причинил ей эту непереносимую боль. Бедный, он закрылся руками, но какая-то злая сила застав-

ляла ее швырять в него с печки всё, что подвернётся под руку.

Тётя Паша зашла в это время к соседке и тихо вышла, никем не замеченная. Она всё поняла. И не осудила. Душа живая, любви требует. Её, Пашины, страсти отгорели в молодости, еще в Гражданскую войну. Муж ушёл воевать с каким-то отрядом не то белых, не то красных и пропал. Дети умерли от голода, троих похоронила, одного за другим, а сама из-под Саратова едва живая прибрела сюда, в верховья Волги. Люди не оставили, помогли. А Катя? Она тихо, в довольстве жизнь прожила. Без переживаний и потерь, к Богу устремлённая. А здесь – какое искушение! Наверно, тётя Паша одна во всём селе не осуждала эту смешную любовь.

После женитьбы Бурова его престарелая сожительница быстро захирела и умерла. Учитель пережил её на десять лет, скончался он от сердечной недостаточности, долго лежал, Зина, говорят, его не сильно жалела, поругивала. Устала от тяжело-больного. И свои медицинские знания не очень применяла – бедолага тяжело страдал от пролежней. Ах, если бы рядом была тётя Катя! Она бы нянчила его на руках, как ребёнка.

Хоронили Бурова зимой. Мои родители, перебравшиеся к тому времени в Мышкин, ездили в Архангельское отдать последний долг коллеге. Вернулись грустные: жалко, такой молодой. А через день, вспомнив что-то, папа рассмеялся. И правда, было смешно. На духовой оркестр из Мышкина жена Бурова тратиться не захотела, пригласила гармониста Ивана, не знавшего ритуальных мелодий. Когда выносили гроб из дома, Иван заиграл: «Прощайте, скалистые горы», а когда стали опускать покойника в могилу, то грянул: «Здравствуй, земля целинная».

### В ДОМЕ У ОМУТА

Свадьба Михаила Николаевича Воробьёва, учителя математики сельской школы, и Тамары Сумеркиной была бедной.

Во всяком случае, родители мои, вернувшись из гостей, первым делом достали из русской печи чугунок тушёной картошки и поставили на керогаз чайник. Тётя Рая, папина крёстная, нянчившая в это время меня и жившая у нас дома, удивилась: «Вы же из-за стола». Папа промолчал, а когда мама хотела что-то объяснить, подмигнул ей незаметно: в селе слухи распространяются быстро и ему, директору школы, совсем не хотелось, чтобы они шли из нашей семьи. Так и отмолчались. Но простодушная тётя Рая в очереди за хлебом обмолвилась, что

молодые, вернувшись со свадьбы, тут же принялись за еду. Впрочем, и без этих слов в Архангельском о событии говорили много.

За столом жених, белоглазый, угрюмый, начинающий полнеть тридцатипятилетний человек, был, по своему обыкновению, неразговорчив. Невеста, молодая, скромно одетая, грустна. Веселье не ладилось. Гости напряженно молчали, ели угощение – винегрет. Подняли стопки за молодых, моя мама выпила вместе со всеми, а папа стопку отставил, ему нужно было делать в клубе доклад об Октябрьской революции. Когда вернулся – картина за столом не изменилась, словно застыла на время его отлучки: его стопка стояла полной, остальные – пустыми, а веселья у гостей ни в одном глазу. Ждали-ждали гости второй стопки, да так и не дождались.

Глядельщицы, набравшиеся в дом и ставшие у входа пёстрой кучкой, затаили было «Хасбулат удалой, бедна сакля твоя», но замолчали, смутившись. А хозяин и бровью не пошевелил. Такого намеками да оговорками не проймёшь.

Пять месяцев назад, в мае, в половодье, не справившись с течением, утонул в Ломихе шестилетний сын Воробьёва, Славик. Малыша затащило в вершу, поставленную для рыбы. Его долго откачивали, звонили в Мышкин, в больницу. Известный в районе доктор Соколов, бывший фронтовой хирург, консультировал по телефону, как надо делать искусственное дыхание. Но всё безуспешно. Михаил Николаевич учился в это время в Ярославле, в институте. На мать Славика, Валентину Алексеевну, страшно было смотреть. Опасались за её жизнь.

Винил ли учитель жену за смерть сына? Валентина Алексеевна не говорила. Она вообще мало рассказывала о себе, но люди знали, что после этой трагедии, сдав экзамены в институте, Михаил Николаевич поехал не домой, а к родителям, жившим на речке Сить. Жена, услышав об этом, в ночь пошла за ним пятьдесят километров пешком. Про девятилетнюю Галю, старшую дочь, в это время никто и не вспомнил, она ночевала в доме, где недавно стоял гроб с покойником, одна.

И ещё в селе рассказывали о таком эпизоде. Дуся Свешникова, соседка, говорливая и любопытная бабёнка, как-то, проходя мимо сада Воробьёвых, услышала возню. Заглянула за дощатый забор и зажала себе рот, чтобы не закричать. Учитель повалил жену на траву. Всё лицо у Валентины Алексеевны темнело разводами, худыми своими руками она пыталась отвести от себя пригоршню перегноя, которую заталкивал ей в рот муж. Под ногой Дуси треснул сучок, разъярённый учитель оглянувшись в сторону тропки и отпустил жену.

Этот случай остался без последствий, Валентина Алексеевна никому ни словом не обмолвилась о том, что происходит в семье, а вскоре страдальца умерла. Через два месяца после второй трагедии в доме и состоялась памятная на селе своей мрачностью свадьба.

Деревенские певички спели тогда всё же несколько песен. Но им, вопреки обычаю, не поднесли ни водки, ни конфет. Они гадали, что бы ещё исполнить, когда та же Дуся принялась шёпотом в общей тишине вспоминать, как везла она на деревянных жёстких дрогах Валентину Алексеевну из мышкинского морга в Архангельское. Лошадь, то ли покойницы напугалась, то ли волков почуяла, только понесла так, что возница едва удержалась на своём сиденье. Попыталась успокоить кобылу, а тут на каком-то ухабе мёртвую пассажирку перевернуло на сене, тряхнуло, одна рука её взлетела в воздух и задела по спине Дусю, та, не разобравшись, совсем перепугалась и стала сдуру уговаривать: «Что же ты, Валентина Алексеевна, бушуешь, сердисься на меня? На мужа своего сердись, это он о тебе плохо заботится».

Такие разговоры на свадьбе были совсем неуместны, и кто-то одёрнул Дусю, кивнув на прикорнувшую возле печки дочку Воробьёва, Галю. Вздохнули бабы, пожалев сиротку. В молчании вспомнили, как укладывали в гроб тело, как не по-людски распорядился хозяин надеть на покойницу платье с короткими рукавами, дал, будто на смех, стоптанные тапки, в которых Валентина Алексеевна на двор ходила. А потом на глазах у изумленных помощниц отстриг треугольник белого штапеля, сурово сказал: «Другого у меня ничего нет». Тряпичей этой, даже не обметав, повязали голову покойницы...

Чтобы отогнать воспоминания, женщины ещё раз попытались запеть. И о, ужас – снова, не сговариваясь, вывели: «Хасбулат удалой, бедна сакля твоя». Эту песню во всех деревенских застольях пели, и все знали её содержание: герой баллады, Хасбулат за измену убивает красавицу жену. Брат невесты, Валька, отсидевший недавно в тюрьме срок за кражу, таких намеков не стерпел, выдернул скамейку из-под пирующих и пошёл с ней на глядельщиц. На том застолье и закончилось.

Не зря вздыхали сердобольные односельчанки. Жизнь у девочки Гали и вправду пошла тяжёлая. Михаил Николаевич навалил на дочь много взрослой работы. Придётся в красивый, с крашеными полами, но холодный и неудобный воробьёвский дом, позовёшь её на речку, а девчонке скошенную траву, поле необозримое, сушить нужно. Берёшь вторые грабли и идёшь навстречу.

Солнце печёт, оводы на мокрое от пота тело са-

дятся, кусают нещадно. Наконец отцовское задание выполнено. Берёмся за руки и бежим за километр на Бутылку. Этот омут на речке Ломихе оправдывает своё название: мельчинка представляет узкое горло, затем расширяющееся овалом с широким днищем. По краям заросли тростника. Мы его выдергиваем из ила и едим. Стебель зелёный, а у основания, когда очистишь стрелу, – совсем белый и пахнет речной свежестью. В омуте возле дома Воробьёвых, его называют Поворот, мы не плаваем с весны, как раз в нем и погиб Славик. Есть и еще омут поближе Бутылки – Пахом. Но на нём тоже давно не купаются, здесь когда-то ещё до нашего рождения утонул в проруби пьяненький священник, его именем и назван бочажок.

Галя быстро стягивает красную юбку на резинке и майку, в этом наряде она ходит всё лето, и я немного завидую ей, моё платье снимать долго, пока я путаюсь с пуговицами, моя подружка уже в воде и показывает разные приёмы плавания: «лодочкой», «носиком», «топориком» – плывёт на спине и руки над лицом на разный манер складывает.

Купаемся, хоть и вода тёплая, недолго – дел у Гали по хозяйству много, а я не остаюсь на реке из солидарности. Подруга никогда не жалуется на отца, но я знаю, он часто бьёт её ремнём, синяки не сходят с Галиного тела, и однажды, после очередной экзекуции, она осенним вечером, по дождю сбежала к бабушке в деревню Тепеново. Как мы потом узнали, пришла она туда глухой ночью в одном резиновом сапоге, другой потеряла в вязкой грязи. Её не было в Архангельском полгода. Отец судился с бабушкой несколько раз и возвратил-таки блудную дочь домой. Когда Галя снова появилась у нас в школе, мы от нее только и слышали: «А у нас в Тепенове!» В этой деревне, оказывается, всем ребятам давали клички. Мы-то в простосердечии обращаемся друг к другу по именам. Галя решила изменить традицию: «Теперь мы всех будем звать по своему, – бойко заявила она. – Вот тебя, – указала она на плотенького четвероклассника Сашу Бизина, – Биздя-валяный чубук». Саша покраснел, но промолчал, спорить с этой острой на язык девчонкой было мудрено. Впрочем, клички скоро забылись. И вот по какой причине.

На Михаила Николаевича пошли анонимки в райком партии и милицию. В них неизвестные утверждали, что тот убил свою первую жену. Зимой приехали криминалисты, раскопали на краю кладбища могилу, провели повторное вскрытие. Вывод последовал тот же, что и в первый раз: в тридцать два года у Валентины Алексеевны было изношенное сердце восьмидесятилетней старухи. Воробьёв был невозмутим, он знал, что его в

округе ненавидят, что самая мягкая кличка ему – эсэсовец. Но он даже был по-своему счастлив: от второй жены у него родился сын, которого назвали тоже Славиком. А Галя совсем лишилась свободного времени, куда от маленького уйдёшь? Только в школу. Я навещала подружку в её заточении, хотя и не любила дом у омута, здесь было так тоскливо, холодно, неулыбно.

То ли дело у нас: папа шутит, мама смеётся, все дела делают вместе. Папа, обув на босую ногу резиновую калошу, натирает тесовые полы дресвой, мама смыкает, получается чисто, в комнатах пахнет сосновой свежестью. Иногда мы собираемся всей семьёй за столом. Мирно светит керосиновая лампа, папа с мамой по очереди читают вслух книгу. Я знаю: у Гали такого никогда не бывает, когда я у неё, её отец нас просто не замечает, всегда угрюм и всегда молчит. Но я всё же хожу к ней, другого способа увидеться вне школы у нас нет.

Она с удовольствием доверяет мне нянчиться с молчаливым светловолосым малышом. Он поздно начал говорить, может, потому что отец, воспитывавшая мужество, сажал его, годовалого, на краю подполья у открытой «западни» – крышки люка. Добился обратного, Славик стал робким, всего боится.

Один раз в гостях у Воробьёвых, спускаясь с младенцем на руках по крашеным ступенькам в сенях, я поскользнулась и упала. Славика старалась держать над собой, но он всё равно ушибся и громко заплакал. Мы с Галей пытались его успокоить, дули на синяк, растекавшийся у него под глазом, совали игрушки. Ничего не помогало, малыш ревел всё громче и громче. Галя тоже чуть не плакала. Ждала родительского гнева. Хорошо, что в доме не было Михаила Николаевича. А мимо проходил с банкой только что собранной земляники Боря Абрамов, сосед Воробьёвых, взрослый уже парень. Заглянул на крыльцо, протянул ягоды Славику, сбегал домой за пятаком, сказал, что если поддержать его на ушибе, то синяка как не бывало. Мы успокоились, но всё-таки Галя отправила меня на всякий случай восвояси.

После этого мы с ней не встречались. Семья Воробьёвых неожиданно переехала в Рыбинск. Потом, взрослой, я узнала, что анонимки на Михаила Николаевича в райцентр продолжали писать и даже после эксгумации тела первой жены, в каждой были слова: «Мы не хотим, чтобы такой человек учил наших детей». Директор школы, похоже, тоже так считал, поэтому в августе вызвал учителя математики в школу и сказал: «Уезжайте, Михаил Николаевич. Вам здесь работать не дадут».

## ШУРА РЫЖАЯ

Дорога после тёплого летнего дождя жирно лоснится, но на ней начала уже просыхать утоптанная ребячьими пятками тропка. Я бегу по ней от села под горку, к речке Ломихе, на мельчинку это самое мелкое место на реке, там воды по колено, и прогревается она быстро, не то что в омутах. На мельчинке купаются девчонки Бакулины, мне тоже хочется успеть поплескаться вместе с ними.

На мне светлое ситцевое прошлогоднее платьишко, оно немного коротко и тесно, и большие чёрные ботинки на вырост, их недавно привезли из Рыбинска. К осени, когда пойду в школу, ботинки будут в самый раз. Мама боится, что у меня быстро растёт нога, не разрешает бегать босиком, чтобы не «растоптать» ступни. Прошлогодние сандалии у меня старые, потрескавшиеся, к тому же и жмут нестерпимо. Мама привезёт мне новые из Ленинграда, куда она поехала вместе с моей старшей сестрой Ирой. Она каждый раз берёт её с собой в город.

Папа уехал на сессию в Ярославль, он учится заочно в пединституте, а ко мне на домовничество приехала из Кудреватовской на велосипеде мамаина младшая сестра Галя. По возрасту она годится маме в дочери, мне она очень нравится, весёлая, решительная и красивая. В прошлом году мы тоже с ней хозяйничали вдвоём целых две недели. Галя тогда решила, что мы к приезду родителей должны сэкономить яйца. Понятно почему. Её мать, моя бабушка-колхозница, почти всю жизнь платила оброк государству продуктами: шерстью, яйцами, молоком. Да и для рынка продукты берегла, в колхозе ничего на трудодни не выдавали, а деньги в хозяйстве нужны. Вот и привыкла девчонка скупердяичничать: есть что похуже. Того в толк не взяла, что сельские учителя, мои родители, от этой государственной повинности освобождены.

Скопила она тогда целую корзинку, больше сотни яиц. А питались мы огурчиками с грядки да старрой, из подвала картошкой – тоже неплохо, но мама при возвращении, глянув на нас, ахнула: «Как из Бухенвальда». Нынче нам строго наказано есть всё, что производит домашний двор. Пока Галя собирает яйца в курятнике, я потихоньку смываюсь в чёрных ботинках на реку, знаю, что тётка не разрешит трогать новые вещи, а покрасоваться перед Бакулиными хочется.

Когда я прибегаю к мельчинке, Алька и Нинка с синими губами уже греются на берегу. Конечно, они замечают мои новые ботинки, их трудно не заметить, в них отражается солнышко, они сияют своей первозданностью и непорочностью. Дев-

чонки завистливо молчат, а я встаю на самый краешек берега, наклоняюсь, чтобы потрогать воду рукой, козырёк, нависший над руслом, плывёт под ногами, я не успеваю отскочить назад... И вместе с пластом земли съезжаю в реку, только брызги летят.

Алька, раскрыв широкий рот, хрипло хохочет, Нинка сочувственно молчит. Горю моему нет предела, мир померк, не радуют запах свежести от реки, солнечные блики на воде, разноцветные камушки на дне, которые бы в другой раз я долго перебирала, отделяя самые красивые.

Выбираюсь на берег, обтираю ботинки травой. Они ещё не успели намокнуть, но блеск потеряли. Сушу их на солнце и уже в руках несу домой. Купаться мне совсем расхотелось. Дома, к счастью, никого нет, Галя, наверно, ушла в магазин. Я потихоньку ставлю своё горе под шкаф и стараюсь забыть о происшедшем.

Потом с тёткой мы идём в огород, там у нас стоят и ульи, и собирать огурцы под самыми летками, где кипит пчелиная жизнь, Галя опасается. А я не боюсь. Меня почему-то пчёлы не трогают.

Огуречная гряда длинная и широкая, «тёплая», как говорит мама. Я видела весной, как родители устраивали её. Землю сняли до борозд, на освободившееся место уложили толстым слоем навоз и сверху засыпали перегноем. Собирая огурцы, стараясь заглянуть в глубину, под ветки, я опираюсь на край гряды, она и в самом деле тёплая, как зимняя печка. Вот потому и растут они у нас с начала лета до осени, я огущаю ими всех своих приятелей, мама солил их на зиму бочками. У самых летков томительно пахнет мёдом, воском, прополисом и цветочной пылью, пчёлы гудят деловито и уютно, и я не понимаю, почему тётка, да и не только она, их так боится.

Мы набираем огурцов, этой ранней летней улады, полное ведёрко. Галя, как рачительная хозяйка, довольна, хотя совершенно непонятно, зачем сейчас нам столько? «Запас карман не тянет», – как бы угадав мои мысли, говорит она.

Тётка не менее хозяйственна, чем моя мама, уж я такой никогда не буду. Целый день снуёт она из дома в огород, оттуда в курятник, потом на двор к корове. При этом никогда не устаёт. Пушистые пепельные волосы у неё заплетены в две косы и собраны «корзиночкой», на висках выбиваются тугие завитки. Говорит она певуче и округло и в то же время напористо. Вот и сейчас командует: «Тебе мать наказывала непременно в Василисино сбегать, к Шуре Рыжей на примерку. Только придется одной идти, мне некогда».

Платья на лето мы шьём у деревенских портних,

готовых изделий в продаже нет, а если и есть, то к нам в деревню не возят. Тётя Шура шьёт лучше всех, с двумя примерками, на первую я ходила к ней ещё в мае. Когда я выбегаю на тропку, Галя кричит мне вслед: «Только с дядькой Сашей одна в доме не оставайся, если портнихи нет – выйди, пожди на брёвнышках». Помнится, когда ходила в прошлый раз в Василисино, мама мне говорила что-то похожее. Почему дядьку Сашу надо опасаться? Старый он и какой-то усталый, видела я его у тёти Шуры мельком, всё на кровати лежал.

В Василисине появился он год назад, октябрьским ненастным днём прошёл со станции по грязи двенадцать километров в кожаных тапочках, которые тогда надевали на покойников, и в пиджаке на голое тело. Обсуждала его появление вся округа, говорили, будто бы, когда он постучался в окно к тёте Шуре, она выскочила в чём была на крыльцо и сказала: «Я всю жизнь тебя ждала». В первую же ночь хозяйка уступила гостю свою пышную кровать, перину и пуховое одеяло, а сама легла спать на сундуке. Сундук был недлинным, и Шура сворачивалась на нём, как кошечка. С тех пор всегда здесь на каждую ночь и устраивалась. Все эти пересуды мне неприятны, портниха мне нравится, а дядька Саша словно на неё какую-то тень отбрасывает.

Я бегу в Василисино по тропке, которая прихотливо вьётся вдоль обрывистого берега Ломихи, срываю на ходу землянику, не знаю ничего лучше её вкуса, при этом мечтаю, как бы не встретить колхозное стадо, там всегда гуляют свирепые быки, один недавно, говорили, катал по загородке пьяного мужика-уходчика и изуродовал его, пропорол рогом печень; и ещё я думаю о том, как бы у тёти Шуры в доме не оказалось этого неприятного дядьки Саши.

Моим простодушным желаниям суждено исполниться, колхозное стадо отогнали пасты далеко к лесу, а тётя Шура в доме оказалась одна, она убирает со стола посуду и при этом напевает что-то старинное, доселе мною не слышанное: «В каком-то непонятном сне он овладел, безумец, мною. И в сердце тихо вкралась мне любовь коварною змеёю». Голос у неё глубокий, верный, и, несмотря на смешные слова, песня звучит трогательно. «Только что отобедали, – объясняет она мне, – дядя Саша пошёл прогуляться, а мы с тобой сейчас на свободе и расположимся». В доме у неё не по-деревенски уютно и чисто, может, потому, что тётя Шура работает не на ферме, там всегда грязно и пахнет силосом, а в поле, по нарядам бригадира. Комната, где идёт примерка, малень-



кая, вся она застлана разноцветными вышивками, на подзеркальнице салфетка с пунцовыми розами, в центре круглого стола – такая же, но с ярко-синими васильками. На кровати, той, которую уступила хозяйка загадочному квартиранту, кипенно-белый, с тонкими кружевами подзор. И пахнет здесь хорошо, цветами и травой.

На столе тётя Шура раскладывает моё смётанное платье – оно очень, как мне кажется, красивое, в сборочку, с пояском, с рукавами «фонарик». Расцветка тоже великолепная: по синему полю разбросаны алые тюльпаны. «Я думаю, нужно две резинки в рукав вдеть», – говорит тётя Шура. Я согласна киваю, конечно, так будет пышней и красивой. Портниха помогает мне осторожно, чтобы не порвать смётку, натянуть на себя платье, я подхожу к высокому полуовальному зеркалу в деревянной раме, это самая шикарная вещь в доме, и не узнаю ни себя в новом платье, ни тётю Шуру, она настоящая красавица с золотыми искрящимися на солнце пушистыми волосами, с глазами цвета созревшего жёлудя. Она по-девичьи гибко наклоняется, одёргивая подол моего платья. Почему только взрослые считают, что она некрасивая и потому никто её замуж не взял, думаю я. А ещё меня первый раз посещает мысль, что и я не такая дурнушка, как можно судить по косвенным маминим замечаниям. Обычно, рассказывая гостям обо мне, она говорит, что до семи лет у меня был очень аккуратный нос, теперь в зеркале я вижу, что и длинный с горбинкой не так уж плохо выглядит, да ещё это платье великолепное, как яркий цветок. «Придёшь за платье вместе с мамой, – наказывает мне на прощание ласково Шура Рыжая, – пусть сама посмотрит, вдруг что-то не полюбится».

Мама с моей сестрой Ирой приехали из Ленинграда через два дня, с саквояжами, чемоданами, сетками – целых двенадцать мест. Папа, уже возвратившийся с сессии, встречал их на станции на мотоцикле. Дома весёлая суматоха, все примеряют обновки, Гале мама привезла отрез на платье, мне новые сандалии и лёгонькие коричневые ботинки. «Так ты мне уже покупала», – напоминаю я, чёрные ботинки так и стоят под шкафом, я тайком доставала их, кажется, не очень пострадали от речной влаги. Мама весело отмахнулась: «Те, рыбинские, очень грубые, посмотри, какие эти складненькие», – глаза её лучисто сияют, я чувствую угрызения совести за то, что не рассказала о несчастье, постигшем меня на речке. Но сейчас и совсем не время объясняться, я беру коричневые, из тонкой кожи ботинки, примеряю: здорово смотрятся, так бы и не снимала, но, наученная горьким опытом, бережно прячу их в коробку. Ма-

ма оживлена, ей удалось сводить мою сестру в Мариинский театр, смотрели «Евгения Онегина», как в другом мире побывали. В Эрмитаж тоже успели сходить, так что культурная программа удалась. «И тебе бы надо побывать в Ленинграде», – обращается она ко мне. Но я догадываюсь, о чём думает мама: с двумя детьми ехать в город и дорого, и хлопотно, к тому же в следующем году старшую, Иру, нужно в техникум учиться отправлять, а значит, в город с мамой снова поедет она. Всё нужное для дальней дороги только в Ленинграде купишь. Я не огорчаюсь, у меня много интересных дел и дома.

На следующий день мы с мамой идём в Василеосино, я в новеньких бежевых сандалиях, они мне немного велики, но ремешок так удобно притягивает их к ноге, что хочется идти далеко-далеко по извилистой тропке. Речка капризно петляет, внизу, под высоким берегом, фигурки ребят, плавающих на Бутылке, любимом нами всеми омуте, кажутся сверху совсем маленькими. Это старшие мальчишки, они и в мае в омутах купаются, холода не боятся. Но мне купаться сейчас совсем не хочется, дом Шуры Рыжей притягивает меня как магнитом.

Мы идём в гору мимо стада, пасущегося у деревни в излучине реки, коров донимают оводы, и они по брюхо забредают в воду, машут хвостами, быков я не вижу, да к тому же и пастух с длинным ремённым кнутом, в кепке, надвинутой на глаза, ходит неподалёку. Он издали, завидев нас, кричит маме приветствие, это её бывший ученик, мальчик был способный, вздыхает она, но пришлось идти работать, матери помогать. Пасти стадо считается делом малопочётным, может, потому, что по заведённому порядку пастуху по очереди донсят обед владельцы коров. Стараются, конечно, кормить лучше, потому что пастух и осрамить может. Один раз я слышала, как этот приветливый мужичок бранил хозяев за плохой ужин: картошку в густой топленой сметане. Он ждал, что принесут мяса.

Тётя Шура в доме опять одна, она, как всегда, встречает нас с улыбкой, меня оставляет перед зеркалом примерять совсем уже готовое платье, а сама с мамой уходит на кухню. Я не торопясь рассматриваю своё отражение в зеркале и на этот раз нахожу, что выгляжу прекрасно, особенно мне нравятся рукава-«фонарики». Из задумчивости меня выводит мамин звонкий голос. «Шура, как вы могли принять его в дом, – волнуется она, – да знаете ли вы, что это за человек? Сколько у него женщин было, его последняя жена из дома выгнала за хорошие дела. А скольких женщин он обманул?» Я заволновалась тоже, кровь прилила к щекам, разговор шёл о тайне. Я с нетерпением ждала ответа. В кухне нависла тишина, нарушил её негромкий,

глубокий голос Шуры Рыжей: «Он и меня обманул. Обманул и бросил. Мне тогда пятнадцать лет было. Как я его любила! – Она помолчала. – И сейчас люблю. Ну кому это мешает?» Женщины молчали, а у меня от волнения даже сердце забилось. Так вот оно как бывает! И можно такого опустившего старика любить.

В истории тёти Шуриной любви для меня много неясного, но маму расспрашивать обо всём бесполезно, она считает, что о грязи окружающего мира дети не должны знать. А куда от этого мира денешься при нашей свободе передвижения и общения? При первом удобном случае спрашиваю о Шурином старике у своей молодой тётки, она гостит ещё у нас. Галя смеётся, я смеюсь вместе с ней, но стою на своём. «Ишь, чего захотела, – наконец произносит она, – это неприлично. И тебе знать ни к чему». – «Да что ж тут неприличного?» – не унимаюсь я. «Дядька Саша весь неприличный, с головы до ног», – убеждённо говорит тётка и всё же рассказывает.

В молодости дядька Саша, тогда ещё для всех Александр Фёдорович, был уважаем. Жил он в Ленинграде, в своё время перебравшись туда из деревни, иного выхода не было, родителей раскулачили, в городской толпе легче было затеряться. Несколько раз ходил на торговом судне в заграничные плавания, денег огребал по тем временам немалое, говорили, что по целому чемодану. В чулок не складывал, отправлялся на родину, в село Шестихино, и гулял так, как в прежние времена иные купцы гуляли, не оставалось в округе ни одного непьяного мужика. Не скуп был, бросал деньги направо и налево. Ясно, что к нему, щедрому, и женщины липли. Только он и женившись, вел себя как холостой. Потому и официальных жён у него было больше десяти. Кто-то, не стерпев безобразий, уходил от него сразу, кто-то пытался перевоспитать. Одна, оставшаяся для знакомых безымянной, жена Александра Фёдоровича решила его не пускать в ресторан, спрятала одежду мужа и заперла дверь на ключ. Беспутный сам рассказывал не раз эту историю со смехом. С особым восторгом о том, как он переоделся в женино платье и удрал-таки в ресторан через окно.

Вот такой человек жил нахлебником у нашей портнихи. Один раз я его видела вблизи, он напросился к маме в гости, как-никак в прежние времена были соседями и родители их дружили. Мама не смогла отказать, пригласила к столу, угощала на кухне, выставила на стол всё, что было: пироги, студень, огурцы, помидоры. Гость, обрюзгший, с припухшими веками, ничего не ел, только курил без конца, засыпав пеплом угоще-

ние. А когда ушёл, мама стряхнула пепел с пирогов, разломала их корове и загадочно произнесла: «А по будням мы не пьем и гостям не наливаем, особенно незванным».

Александр Фёдорович умер в шестьдесят два года. Шура Рыжая похоронила его на Архангельском кладбище, поставила дорогой гранитный памятник. Деньги в те бедные времена она скопить могла, создав свой уникальный деревенский салон.

Недавно я была в Архангельском, сходила на кладбище, зашла на могилку к непризнанной деревенской красавице тёте Шуре. Она по завещанию похоронена рядом с Александром Фёдоровичем. Гранитный памятник над последним пристанищем гуляки совсем не постарел. А вот деревянный – над бедным холмиком, под которым лежит Шура Рыжая, – подгнил и покосился. Близких родных у неё не осталось, подправить некому.

### В БЕРЁЗОВОЙ РОЩЕ НАД ВЫСОХШИМ РУЧЬЁМ

Жёлтая двухэтажная богадельня стояла в центре села, на пригорке. До революции здесь, среди берёзовых рощ над безымянным ручьём, который широко разливался весной по рыжей прошлогодней осоке, коротали свой век насельницы в чепцах и длинных платьях. Летом, случалось, ручей совсем пересыхал. Унылый пейзаж, и смотрели на него старухи уныло, поджав бесцветные губы и сложив на коленях руки с длинными пальцами, выдававшими их благородное происхождение.

А уже в пятидесятые годы двадцатого века дом этот пустовал. И только часть первого этажа занимала учительница начальных классов, строгая светловолосая женщина с тонкими, плотно поджатыми губами. С ней жила дочка Катя, тоже молчаливая неулыба. И маленькой соседской девочке смутно чувствовалось, что мать и дочь хмурятся не просто так, на них незримо давит прошлое дома...

Куда разметало вихрем жизни доживающих на покое старушек? Этого сказать никто не мог. Маленькая девочка думала, что они умерли от горя и одиночества, и оттого, что в жизни, наполненной весёлыми молодыми голосами, этим людям уже нечего было делать.

Высокие входные двери в бывшей богадельне облупились и расщелились. Потолки в коридоре не по-деревенски высоки. Здесь всегда сумрачно. Тьма жутковато сгущается в пространстве под лестницей. Маленькая соседка с замиранием сердца добралась до порога Катиной квартиры, потянула за скобку низенькую, сбитую из тёмных прокопчён-

ных досок дверь, услышала громкое и повелительное: «Заходи». И облегчённо перевела дух.

Катя была старше девочки почти на пять лет, училась в начальной школе, но иногда звала к себе поиграть в куклы и дошкольницу. Конечно, она бы, наверно, лучше и веселей играла со сверстниками. Но родилась Катя в войну, из детей её возраста жила в селе только ещё одна дочка учителей. А с ней она не всегда ладила.

В этот раз старшая подружка показала младшей, как мастерить самодельных тряпичных кукол. Она старательно хмурит высокий лоб, морщинка никак не закладывается на гладкой коже, и поучительно говорит, глядя сверху, с табурета, на гостью: «Главное, чтобы глаза на лице пошире нарисовать. Узкие глаза – злые». Маленькая не моргая смотрит, как Катя из ненужных тряпок скатывает круглую голову, обтягивает её белым чистым платком, завязывает снизу шар ниткой и начинает рисовать химическим карандашом глаза с ресницами и бровями. Сначала ей интересно, но потом становится скучно. Глаза на тряпичном лице и на самом деле, как ни старается Катя, получаются узкими и злыми. Нет, куклы из магазина куда лучше. Их у девочки две. У большой, которую привезла мама из Ленинграда, даже закрываются и открываются глаза.

К тому же Катя не разрешает гостье трогать тряпки, а тем более ножницы и иголку, которой она будет пришивать круглую голову к узенькому трубчатому туловищу. Младшая замечает кротко: «Ты хоть обязи куй, она совсем иная». – «Не иная, а лысая, – строго поправляет Катя. – И не обязи, а повязки. Когда ты научишься говорить?»

Гостья замолкает, ей совсем не нравится поучительный Катин тон. Она решительно встаёт и направляется к выходу. «Ты куда? – строго, как учительница в классе, спрашивает её хозяйка. – Не ходи. Там под лестницей покойники живут».

Девочка поворачивает голову, видит, как по Катину лицу пробегает тень. Но она слишком ещё мала, чтобы разгадать подвох, поэтому послушно садится на свою низенькую скамеечку и терпеливо ждёт, когда хозяйке надоест собирать из тряпок куклу. Сначала она просто скучает, потом понемногу начинает бояться, не придут ли покойники в тенистую от берёз большую комнату. Катя спокойна. А может, просто притворяется? Как она может здесь жить, ходить мимо лестницы не по одному разу. И как сейчас выходить на улицу? А что, если покойники не посмотрят, что их двое, и всё-таки нападут. Они ей представляются высокими, выше человеческого роста, в белых простынях и с вытянутыми желтыми руками.

Девочка с тоской смотрит на сероглазую кре-

пенькую хозяйку квартиры. А той уже давно самой надоело сидеть дома. Она, понаслаждавшись растерянностью своей гостью, наконец командует: «Пойдём».

Перед тем как открыть низенькую дверь в сумрак коридора, Катя ещё раз смотрит на девочку. Та тоже во все глаза глядит на старшую. Замечает насмешливую улыбку на губах. Самой ей не до улыбок. У девочки неистово колотится сердце. Она встает поближе к старшей подружке, ей хочется взять Катю за руку. Но ведь засмеёт, будет рассказывать всем ребятам, какая у неё трусиха соседка. Нет уж! Девочка наклоняет голову, два вихорка коротко стриженных волос отчаянно топорщатся на макушке. И маленькими тупыми шажками идёт следом за хозяйкой за порог. Наверху кто-то заскреб когтями по железной крыше. Скрипнула ступенька на лестнице. В это время в коридор упала полоса света, Катя открыла дверь на улицу.

Бояться нечего, когда видишь привычный и радостный мир: яркое солнышко, старые берёзы, а под ними густые жирные лопухи. Среди них бродят белые толстые куры, останавливаются, гребут лапами землю, вытаскивают червяков.

Недавно, играя под лопухами, девочка заползла вглубь зарослей, в таинственный и зеленоватый полумрак и нашла клуху, терпеливо сидящую прямо на земле, в стороне от своих товарок. Сбоку из-под перьев белели овальные яйца! Дома девочка объявила: «Цыплят высизивает!» Мама долго удивлялась, почему не услышала, как заклохтала кура. Как будто озабоченно и хрипловато по-стариковски покряхтывала стала. Теперь на дворе живности прибавилось, ещё пятнадцать цыплят кормить надо. Девочка, забыв пережитое, идёт на двор посмотреть на цыплят. Они маленькие, желтые и смешные. Лапки – тоньше спичек. А уже ходят за клухой по двору.

Она бежит дальше. Канавы, тянущиеся вдоль дороги до самого кладбища, до середины лета залиты водой. Сейчас она до самого дна тёплая, прогретая. Приходится заирать вверх ситцевое платьишко, чтобы вымерять канаву по всей глубине. Ноги щекочет и засасывает донная тина, а на поверхности воды одно большое солнце разбилось на сотни маленьких, будто смеётся. Сандалии стоят на взгорке под самой большой и толстой берёзой.

Столетние берёзы на канаве, продолжение двух берёзовых рощ, пахнут острее и свежее, чем другие. Может, потому, что подпитываются тальми прогретыми водами. В необозримой вышине в огромных лепёшках гнёзд сидят грачи, чуть поближе к земле, к своим деревянным домикам снуют скворцы – всё звучит, гомонит, радуется. И кажет-

ся, конца не будет этому длинному летнему дню. Можно играть за магазином, расставляя на доске светло-коричневые кувшинчики из-под бальзама. Им когда-то до революции торговали в селе купцы. Можно ляпать из жирной земли лоснящиеся пирожки и продавать чумазым, в перезеленённых сочной травой платыцах, ровесницам. О покойниках девочка забыла.

Осенью, когда родители пошли на уроки в школу, а няни уже не было, всё-таки пять лет скоро исполнится, большая учительская дочка оставалась на весь день одна. И тут она вспомнила о зловещей тайне старой богадельни. А вспомнив, услышала, как шуршат по лопухам и травам длинными простынями покойники. Они медленно приближаются. Чу, скрипнула в коридоре половица! Нужно спрятаться, затаиться на печке под ворохом пальтушек, не дышать – тогда её не найдут. А что будет с ней, если найдут, девочка думать не смеет.

Печка была только что протоплена, кирпичи раскалились, жгут тело. Она слышит, как пот струится по лицу, по спине, и не шевелится, оцепенев, не думая. Ужас переполнил её маленькое сердце. Мама, приходя домой, удивлялась причудам девочки день, другой, а потом, что-то поняв, стала брать её с собой на уроки. Посадила на заднюю парту к высокому третьекласснику Лапшину. Тот рисовал ей на промокашке зайцев и лисиц, иногда кукол, они у него получались с широко распахнутыми, добрыми глазами.

А весной богадельню сломали. Покойники, благородные длиннорукие старушки, наверно, переселились на кладбище и успокоились в своих вечных жилищах. Во всяком случае, после этого, даже оставаясь в доме одна, девочка не вспоминала о таинственных обитателях богадельни.

### СШЕЙТЕ БЕЛУЮ КОТОМОЧКУ

**В** длинные осенние вечера хорошо на кухне. Здесь в углу стоит деревянный стол, на табуретах вокруг него могут разместиться все члены семьи и гости. Вдоль стены широкие деревянные лавки, на них мы ставим вёдра с водой. У самого порога рукомойник и место для вёдер, в которых наводят поило для коровы и телёнка. В центре кухни – русская печка, по утрам, а иногда и вечером мама её топит. Поэтому на кухне всегда тепло, на столе тусклым ровным светом горит керосиновая лампа. Я качаюсь на верёвочных качелях, прилаженных в дверном проёме между кухней и средней комнатой. Мама задвигает в печь чугуны, запаривает на завтрашний день корм корове и телёнку.

Бабушка Анна Ивановна, папина мать, собирается на двор кормить скотину. У нас бабушка появилась недавно, не поладила с бригадиром в колхозе и ушла жить к старшему сыну в Архангельское, оставив на хозяйстве свою младшую сестру, маленькую, как девочка, бабу Раю. Папина мать деловита, с нами, младшими, малоразговорчива, объясняя это тем, что никогда не возилась с детьми, трёх сынов и дочку ей вынянчила свекровь.

У окна, на табуретке, с шилом, дратвой, кусками кожи и сапожной лапкой примостился другой наш гость, дядя Митя. Он маленький, улыбчивый, седой, кудрявый и очень разговорчивый.

А рассказать ему есть что. С тех пор как овдовел, он почти не живёт в своём доме, ходит по разным деревням и шьёт на заказ сапоги. Нужда после войны в обуви большая, в магазинах ничего нет, а на рынке, в Рыбинске, и надуть запросто могут. Прошлой зимой папа привёз оттуда маме валенки, аккуратные, как раз на её маленькую ногу. Однажды в оттепель пошли мои родители в Спирдово, мама обула обновку. Всю дорогу удивлялась: её обувка набухла, как в страшном сне, на глазах увеличиваясь в размерах, к концу пятикилометрового пути впору была, наверно, уже папе. Знающие люди объяснили, что в валенках было больше ваты, чем шерсти. Впрочем, жизнь таким образом многому научила моих молодых родителей, и нынче осенью они привезли из Рыбинска маме аккуратенькие хромовые сапожки, писк послевоенной деревенской моды.

Они оказались настоящими, из тонкой кожи, и ловко сидели на ноге. Папе же сапоги решили шить на заказ. Дядя Митя, все в селе знали, сапожник не из последних, вот и остановился кочующий обувщик на время в нашем доме.

Дядя Митя – человек лёгкий, о жене не вздыхает, не жалуется на свою вдовую судьбу, хотя раз и обмолвился: «Эх, не молодуху бы мне в дом, а обычную бабу, мою ровесницу. Зажили бы с ней припеваючи. У меня ведь всё в доме есть, только хозяйки не хватает, а сам я не приспособлен к этим бабьим делам». И, похоже, он не прочь, чтобы моя бабушка стала его хозяйкой. Во всяком случае, каждый раз, когда она берёт ведёрко с пойлом в руки, он бросается к ней на помощь. Только Анна Ивановна не от всякого её примет. Вот и на дядю Митю то сверху вниз посмотрит без слов, да так, что он тут же на место своё задом пятится. Она выше его на полголовы, поэтому смотреть сверху вниз у неё получается хорошо. То плечом своим широким, все ещё статным, в сторонку отодвинет. В общем, наш гость частенько бывает посрамлён.

Бабушка до самой смерти не смирится с гибелью

мужа и среднего сына на фронте в конце войны. И, похоже, никто ей не нужен: засохшее дерево не цветёт. Но жить надо, младших детей, Зину и Веню, на ноги поставить, помочь в жизни определиться.

Вениамин плавает на судне кочегаром. Это разве работа? Дочка единственная в Рыбинске живёт, устроилась хорошо, после средней школы окончила курсы бухгалтеров и пошла на завод. А вот с жильём – беда. Мыкается по чужим углам. Жалко кровинушку. Но одних бабушкиных сил не хватает, чтобы помочь Зине. Вот она и приехала к старшему сыну, моему папе, сначала мёд с большой пасеки, натасканный пчёлами за лето, весь в городе продала. Завздохала. Всё равно не хватает даже на комнату в деревянном доме. Но не такой человек Анна Ивановна, чтобы долго предаваться отчаянию. Стала кумекать, откуда ещё денег для Зинуши добыть.

Тётя Зина у нас в Архангельском бывала не раз. Высокая, статная девушка с тёмными тяжелыми волосами и большими глазами. Нарядней её я не видела в жизни никого: в крепдешиновом платье, в туфельках на низком каблучке – высокие не надешь, потому что сама высока. Обычно она что-то шила на маминой швейной машинке и пела приятным, бархатным голосом: «Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда». Песня грустная и не очень подходит моей тёте, уверенной в себе, красивой и городской. Но это с виду она такая. А верно есть на сердце рана, если грустные песни с таким чувством поёт.

Взрослые между собой говорили, что крутая моя бабушка гоняла её женихов от порога одного за другим. Был и такой, между прочим, который не понравился требовательной матери тем, что не в костюме и ботинках, а в курточке и сапогах знакомиться в Евлановскую явился. Анна Ивановна негодовала: «Это за кого же он нас принимает?» И ещё: «Да он босяк, наверно, у него и костюма-то никакого нет. Не пуцу тебя, Зинуша, замуж за такого».

Бабушка своих детей строжила, но за них же была готова в огонь и в воду.

Часто, глядя на свою статную дочь, вслух восхищалась: «И до чего ты у меня красивая, Зина». И, конечно же, смиряться с тем, что её дочке негде гнездо вить, не могла. Последний шанс – корова Ночка, которую мама вырастила из тёлочек. Такая славная коровёнка получилась, радовались дома: и нравом кроткая, и удойная. Зима предстояла у нас сытная и безбедная. Будут и ватрушки, на какие мама – большая мастерица, и каша, и топлёная сметана с пеночками. Я столовыми

ложками могу её есть – так вкусно. А в еде нас никто никогда не ограничивает. Родители, верно, сами наголодались и считают, что самое правильное питание – это когда дети сыты.

Однако Анна Ивановна все карты смешала. Как-то вечером подступила она к снохе, маме моей, с нелёгким разговором: «Лида, я Ночку в Рыбинск поведу продавать. Вы и без коровы как-нибудь переберётесь. Да и не навек я вас без молока оставляю. Поднатужитесь – и с нескольких зарплат новую скотинку огорюете».

Мама у печки, раскрасневшись лицом, молчала. Да и все, кто был в кухне, затихли, даже беззаботный дядя Митя. Кому в послевоенной деревне не знать, что значит остаться на зиму без коровы? Даже я, дошкольница, не особо тогда вникавшая во взрослую жизнь, притихла. Прощай, ватрушки и топлёная сметана! Конечно, есть в погребе картошка, мясо скоро будет, бычок на дворе уже загородку ломает, такой крупный да норовистый. И всё же зимний наш стол не обещал быть разнообразным.

Молодая хозяйка обдумывала предложение, да и не предложение это было, а твердое решение свекрови, с которым не поспоришь. Она молчала, потому что знала, что, по большому счёту, бабушка права, надо Зине помочь обустроиться в городе. К тому же и муж молодой, как и все дети Кусковы, мать свою почитал и решения её не обсуждал. От него, если она пойдёт против матери, поддержки не жди. Но Ночку было до слёз жалко. Вечером, в постели, она попыталась вопреки очевидному переубедить моего папу: «У нас у самих ничего нет. Девчонкам пальтишки нужны, тебе костюм. А будем на корову копить, останемся без всего». Глава семьи много слов не тратил: «Лида, ты знаешь, что мама хочет как лучше, не вздумай обидеть её».

На следующий вечер на кухне всё было как всегда, бабушка деловито занималась кормом для скотины, мама хлопотала у печки и улыбалась дяди Митиным шуткам, я качалась на своих верёвочных качелях. Папа задержался в колхозе, на своей второй и неоплачиваемой работе парторга. Бабушка, расправив спину, повернулась к моей маме и улыбнулась ей скупой улыбкой: «Люблю тебя, Лида, за характер. Легкий он у тебя».

У самой Анны Ивановны характер был как кипятилок, если на лошади сено возила, то порожняком не ехала, скакала, стоя на телеге, крутя вожжи над головой. И это в пятьдесят с лишним лет. За словом тоже в карман не лезла, если кто-то работал с лентой, то могла припечатать: «Не шить, не смыть, только в ширинке шевелить». Дома же вся эта горячность скрашивалась её любовью и заботой о

детях, сыновья её почитали за преданность семье и бесстрашие. Казалось, не было ситуаций, с какими бы она не могла справиться. Дочка Зина, случилось, спорила с Анной Ивановной, не соглашалась, но и она из-под материнской воли не выходила. Вот и тому босяку безкостюмному отказала, хотя, говорят, и нравился он ей.

Мама же моя пуще всего ценила покой и мир в доме. Поэтому, даже если решения свекрови были не по нраву, соглашалась с ними. Не обижать же любимого мужа, в самом деле, своей непокладистостью.

Дядя Митя, обрадованный тем, что снята последняя напряжённость и снова установилась на кухне доброжелательность и любовь, запел хрипловатым тенорком: «Меня дома-то ругают, что я много хлеба ем, сшейте белую котомочку, уйду, не надоем». Наш домашний сапожник заканчивал тачать сапоги и готовился в дальнюю дорогу, в другой дом, на другую кухню.

Бабушка ушла из дома на день раньше его, в холодное осеннее утро. За собой на верёвке она вела нашу Ночку. Подмораживало, но идти по замёрзшим колдобинам и глемякам было ничуть не легче, чем по размокшим грязным колеям. Пахло снегом. Так говорят о времени, когда воздух стынет, а хмурые тучи вот-вот готовы прорваться густыми белыми хлопьями. А дорога предстояла неблизкая, пятьдесят километров до города. Ночка уходить не хотела, упиралась, но бабушка строго прикрикнула на неё: «Не балуй!» И они пошли, не медленно и не быстро. На бабушке было длинное чёрное пальто, которое она, едва отойдя от дома, расстегнула, ей стало жарко. Да так все пятьдесят километров нараспашку и прошагала.

Корову она успешно продала, смогла, сложив доходы от мёда и от коровы, половину деревянного дома на улице Яна Гуса в Рыбинске дочери купить. А сама заболела, слегла. Она лежала в больнице, её лечили, но нестарая ещё женщина теряла силы на глазах. Организм не хотел справляться с болезнью. Взрослые потом говорили, что было назначено неправильное лечение и отказали почки. А я сейчас думаю, что бабушка просто устала жить. Она яростно хотела, чтобы всё в семье было не просто хорошо, а лучше всех. Война, не посчитавшись с этим, отняла у неё слишком много.

Родители мои часто из дома отлучались в город, к бабушке. Однажды майским теплым и солнечным днём мама повезла меня и сестру в больницу, Анна Ивановна захотела нас, внушек, повидать.

В большой палате стояло много коек. Мама подвела нас к какой-то кровати, где лежала маленькая сухонькая старушка с запавшими глазами и сухим

ртом. Я испугалась и стала отступать к двери: моя бабушка была крепкая, крупная и не старая. Большая всё поняла, слабо усмехнулась, но ничего не сказала. У неё не было сил.

Папа мой бывал в больнице у матери часто, всё надеялся, что удастся поддержать питанием больного человека, спасти. А когда напоследок понял, что дело идёт к концу, сказал с горечью: «Надо, мама, тебя удерживать было, не во всём слушаться. Тогда бы, наверно, ты так не простудилась».

Она умерла глубокой осенью, через год после своего рокового путешествия. Её все очень жалели, жить бы ещё да жить. Неутешны были сыновья, папа и дядя Веня, они очень любили свою мать. Сильно горевала дочка Зина. Печалилась моя мама, свекровь, несмотря ни на что, нравилась ей своим ярким, кипучим характером. А дядя Митя узнал о смерти моей бабушки не скоро, он откочевал со своим инструментом куда-то на границу с Калининской областью. Там, в глуши, он со своим ремеслом был нарасхват. Он пережил мою бабушку на много лет, так же смеялся, шутил и пел по чужим кухням частушки. До самой смерти весёлый сапожник так и остался бобылём.

## ВСПОМНИ, МАМА МОЯ

Как-то вечером позвонили мне домой по телефону. Не сразу поняла, кто говорит. Сначала приняла было собеседника за разговорчивую старушку, недовольную тем, как и о чём пишут в газетах, – так сварливо, как виновато, как выговаривали мне в трубку. На вопрос, с кем разговариваю, в трубке сердито продребезжало: «Какие вы хитрые. Всё бы вам знать. Человек я. Звонил же в прошлый раз, говорил – нечего про чужих вспоминать, напиши про Веню Кускова». Точно, звонил как-то мужчина из Богородского, тогда он представился, после публикации в областной газете моего очерка о жителях Архангельского, говорил о дяде Вене.

Вениамин Александрович Кусков, младший брат моего папы, был действительно колоритной фигурой. Многие годы он работал председателем колхоза «Россия» в Мышкинском районе.

При нём в хозяйстве много строили, а парк техники создали такой, что даже в сокрушительные для деревни девяностые годы прошлого века при других руководителях хозяйство устоит, не развалится. Дядя, широкая натура, хотел, чтобы все вокруг жили хорошо. Воровать не давал, а помогать колхозникам косилками, транспортом для домашнего подворья старался. Уже при нём люди стали ощущать, что можно жить богаче, крепче, прибав-

ля к колхозным заработкам доходы от своих, домашних, коров и телят.

Тогда в моде был обмен делегациями между районами, областями, ездили колхозные делегации и в другие республики.

Однажды мышкинская делегация отправилась на Украину посмотреть, как хозяйничают братья-славяне. Основной состав её – председатели колхозов, был там, конечно, и мой дядя.

Поспорили, как водится у хохлов и кацапов, у кого лучше дела идут, посоревновались кто во что горазд, а потом за огромный хлебосольный стол сели. И здесь соревнование: какой богатырь – русский или украинский – больше водки выпьет и с ног не свалится. Дядя Веня в молодости был человеком непьющим. В зрелые годы, в председателях, застолий не избегал, но и пьяным его никто не видел – крепкая натура. Вот его наши мужики и выставили на поле спора. Соперник у него хоть куда, Тарас Бульба, да и только, брюхо, как пивной котел, много доброй горилки нужно в него влить, чтобы обладатель его опьянел. Дядька мой не худой уже тогда был, да и в плечах широк, но хохол всё-таки крупнее его, солиднее.

Слышала этот рассказ от самого дяди Вени, цифру запомнила. Сорок стопок пришлось ему опрокинуть, чтобы не посрамить чести земли русской. И устоял, а украинский председатель в тарелку лицом ткнулся.

Папа, тоже слушавший этот рассказ, сказал: «Веня, так ты и умереть мог. Ты уже немолод». Дядя засмеялся: «Положил бы жизнь за други своя».

Братья отличались характерами, папа всегда сдержанный, мудрый в решениях и поступках, дядя Веня более эмоциональный, любивший и сохранивший русскую удаль. Но они очень любили друг друга, да и мать, Анна Ивановна, умирая, наказывала старшему сыну: «Венко не оставь».

В юности, едва исполнилось семнадцать, Вениамин Кусков махнул на Украину, плавал по Днепру на пароходе «Николай Гоголь». Вот уж где насмотрелся на реку, воспетую классиком, и всё удивлялся – любят же хохлы хвастать: «Редкая птица долетит до середины Днепра!» Да любая птаха одолеет. Видел же Николай Васильевич и другие берега. То ли дело, например, наша Волга. А вот своё воспел, родное, кровное.

У нас дома и сейчас хранится фотография, которую прислал тогда дядя с Украины – маленькие фигурки команды на огромной палубе, так снимал фотограф. Дядя самый высокий. «А худой-то какой», – сокрушалась моя мама. На нём была модная тогда бобочка, что-то типа современной футболки, только с воротником. У нас в Архангельском таких не

носили. Для меня эта бобочка долго оставалась символом небедной жизни.

Украина жила побогаче России, как, впрочем, почти все окраины Советского Союза. Многие люди в поисках лучшей доли рванули в ту пору в союзные республики, которые центр больше прикармливал.

Одна знакомая, год пожив в Запорожье, говорила, смягчая русское «Г»: «От Москвы в поезде сразу Ярославщиной воняет: хovor хрубый, и везде мешочники». Забыла, верно, как сама помогала матери на рынке творогом и сметаной, как в деревне говорят, молосниной торговать, чтобы в доме копеечка водилась.

Дядя Веня был не такой, дом родной любил, да и чужбина оставалась для него мачехой, а не матерью. Мои родители говорили, что он служил на судне кочегаром, и когда я глядела на снимок, на маленьких людей на огромной палубе, мне всегда почему-то вспоминалась песня «Раскинулось море широко». Там были страшные слова: «Товарищ, я вахту не в силах стоять, сказал кочегар кочегару». Казалось, что и моему молодому дяде тоже не хватает воздуха и что он может умереть.

Как-то летним утром меня разбудил нежный, томительно-сладкий запах. В нашем доме всегда хорошо пахло: после уборки оттертые с дресвой полы источали сосновый дух, после того как родители ходили в ульи, пахло мёдом, но такого запаха у нас ещё не было. Может, он мне приснился? Я открыла глаза и увидела, откуда он исходит. На табуретках стояли два огромных чемодана с невиданно крупными ярко-жёлтыми плодами. У меня язык не повернулся назвать их яблоками. В нашем огороде росли только дички. Выбирали мы яблони в лесу, потом весной или осенью сажали молодь в огороде, на них иногда вырастали, на наш взгляд, и неплохие, сладкие яблоки. Но больше двух съесть было нельзя – замучает оскома.

На кухне слышны были голоса, один незнакомый, высокий, и я, натянув красный с белым горошком сарафан, босиком по нагретым солнцем половицам побежала туда.

Папа тесно, плечом к плечу, сидел на лавке с незнакомым молодым человеком. Так вот он какой, папин брат, совсем не похож на свои фотографии, здоровый, крепкий, уж никак не скажешь, что он работал кочегаром на пароходе. Волосы светлее, чем у папы, прямые, а не кудрявые. И совсем мягкие, это, даже не дотрагиваясь до них, видно. Я так засмотрелась на дядю, что не слышала, о чём разговаривают старшие. Только последние папины слова, сказанные громче и с напором, запомнила: «Пора тебе, Веня, прибавиться к родному берегу».

Они поднялись из-за стола, и я удивилась: молодой дядя оказался ростом выше папы. До сих пор такого не случалось, все гости были значительно ниже его. Когда сказала маме об этом, она засмеялась: «Это что, ты бы видела деда, Александра Максимовича, он почти на голову был выше сынов». И тут же оглянулась, не слышат ли её мужчины, ей не хотелось причинять своими воспоминаниями им боль, слишком свежи утраты. Александр Максимович и средний брат Коля погибли в конце войны, бабушка умерла совсем недавно.

На похоронах из многочисленной родни не было только меня и дяди Вени. Меня по малолетству и пугливости, покойников я боялась до судорог, не повели к гробу, и даже о том, что бабушка умерла, я ничего не знала. А дядька три раза слал телеграммы с Украины, чтобы без него не хоронили мать. Была поздняя осень, холодно, а бабушка так за время болезни похудела и высохла, что, зная, как любила она своего младшего сына, похороны откладывали и откладывали. Только через шесть дней, когда стало ясно, что, несмотря на весь порыв, с чужбины ему не вырваться: капитан не отпускает, денег не достать – папа, как старший в доме, назначил скорбный день.

И вот много времени спустя младший бабушкин сын появился у нас. Папа при первой встрече высказал то, о чём думал давно: надо всей родне держаться вместе. А чтобы покрепче прививался он в Архангельском, стали ему мои родители ненавязчиво так, без лишних намёков, невесту присматривать. Да он и сам парень не промах, в первые же дни познакомился с Нюрой Коршуновой, школьным счетоводом, скромной, немногословной девушкой с большими печальными глазами. Когда я была маленькой, она часто соглашалась посидеть со мной, когда родителям нужно было отлучаться из дома.

Папа много лет был неосвобожденным секретарём колхозной партийной организации, мама – агитатором на ферме. После уроков в школе им приходилось идти на другую, неоплачиваемую службу. И каждый раз, дожидаясь, когда они придут, я кланчила у Нюры: расскажи сказку. Сказок у неё в запасе было две: про колобка и про медведя на липовой ноге. Она отбивалась как могла: «Ты уже слышала все мои сказки». Конечно, я любила больше всего волшебные, про Финиста Ясна Сокола, про Конька-Горбунка. Но за неимением готова была слушать и все остальные, попроще.

Потом я узнала, почему Нюра не знала того, что знала тогда каждая деревенская бабка. Выросла она сиротой, без матери, некогда было сказки читать и слушать. Зато добрая и отзывчивая была,

никогда не бранила меня за шалости. И до самой своей старости относилась ко мне с интересом и любовью, напоминая: «А помнишь, ты сказки всё у меня просила? Если бы я их много знала, ты бы в пять лет читать не выучилась. Сама рано обо всём из книжек стала узнавать, потому что все вокруг были заняты по горло».

Дядя Вени остался жить у нас, мне очень нравилось, когда Нюра приходила в гости, а потом дядька мой выходил провожать её на крыльцо без пальто и шапки, через дверь слышались их голоса: высокий и частый мужской и низкий, с паузами, женский. Как-то простояли они так на морозе долго. Нюре одетой – хоть бы что. А папин брат простудился и отлёживался, грелся на лежанке несколько дней. Он сделался молчалив и нахмурен. Мне с ним стало скучно, и я пошла в школу.

Дошкольницей мне разрешалось в любое время заходить в учительскую. Была перемена, кто-то из учителей спросил меня, почему не видно давно дядю Веню. Я бойко отвечала: «С Нюрой сопли наморозил на крыльце, теперь на лежанке отогревается». Все, кто был в учительской, засмеялись. Нюра смущённо уткнулась в таблицы, разложенные перед ней. Впрочем, ни в этот момент, ни позднее она не сердилась на меня. А вот дяде Вене, когда ему обо всём рассказали, такие заявления пришлось не по вкусу. И он несколько дней дулся, не разговаривал со мной. Это было ощутимое наказание, родители так никогда не поступали.

Потом папин брат стал заглядываться на нашу соседку, Татьяну Ивановну, она жила с дочкой Валей Ширшовой в нашем большом доме, за бревенчатой стеной. Татьяна Ивановна была тоже, как мама, учительницей начальных классов, а с первым мужем давно развелась.

Вскоре дядька и совсем перебрался жить на другую половину. Свадьбы его не помню, скорее всего, и не было этой свадьбы, праздновать было не на что. Зимой он отучился в Быковском училище механизации, а лето выдалось такое дождливое, что он на своём комбайне в поле смог выехать лишь несколько раз, ничего не заработал. А потом, может, от огорчения, что настоящая мужская работа доходов не даёт, стал он заведующим нашим архангельским клубом.

Зарплата ему полагалась небольшая, зато каждый месяц и без задержки, и это для него было важно, потому что к тому времени родился у него с Татьяной Ивановной сын, мой двоюродный брат Шурик.

Оставалось у дяди время, чтобы вместе с моим папой заниматься пасекой. Мёда брали столько, что мама с Татьяной Ивановной варили на нём варенье, песку в магазинах в ту пору не продавали,



а варенья хотелось. Ходили братья и на охоту, приносили, смотря по сезону, уток, зайцев. А как-то раз зимой на широченных охотничьих лыжах отправились по следу за лисой, набрали на нору, дядя Веня вытягивал кумушку за ошорок на свет божий из укрытия. Зверюга отчаянно сопротивлялась, прокусила руку. Тушку освежевали, шкуру младший брат отдал старшему, её высушили на специальных пальцах, разрезали и постелили вместо коврика перед кроватью родителей. Этот самодельный коврик служил долго, до самого нашего отъезда из Архангельского.

Дядя Веня много времени проводил в клубе, особенно по вечерам. Готовил концерты к красным датам. Участников художественной самодеятельности в ту пору было немало, жили трудно, временами голодно, а вот, поди ж ты, и для общения время находили. Да и талантами деревня тогда ещё не оскудела.

Нина Шилкова, строгая, красивая, всегда очень гладко причёсанная девушка, читала со сцены длиннющие рассказы. На мой неизощрённый слух, рассказывала она не хуже, чем актёры в литературных передачах по радио. Слушала её затаив дыхание. Особенно мне нравилось про обгоревшего танкиста, о том, как он с обожженным, неузнаваемым лицом навестил родителей и те его не узнали. Голос Нины в самых драматических местах звенел, и у меня холодело где-то под ложечкой. Рассказ мне нравился тем, что всё в нём заканчивалось хорошо, и любимая девушка от танкиста не отреклась, и воздало ему должное, как положено герою. Я любила рассказы с хорошим концом.

Нина Шилкова работала дояркой на ферме, совсем недавно она отлично, с одной четвёркой окончила семилетку, хотела поступать в медицинское училище. Но в тот год в силе был циркуляр, по которому к вступительным экзаменам в учебные заведения из деревни допускались только круглые пятёрочки. Шилкова всю жизнь проработала дояркой, была в районе лучшей, к ней часто приезжали корреспонденты. Все они, кто про себя, кто вслух, удивлялись литературной речи Нины Васильевны.

Дядя Веня на концертах пел. У него был тенор, красивый и звучный, и когда он выходил на сцену, чуть не касаясь головой потолка, зал затихал. Так слушали у нас только ещё одного человека, приезжую знаменитость из Мышкина – Ивана Степановича Хромова. За дядю я переживала, видела, что волнуется, но, странно, от этого голос его звучал ещё душевней, ещё проникновенней. «Провода от снежной тяжести качаются», – пел он. И представлялась наша морозная пустынная улица. Проводов, правда, в Архангельском ещё не было: элект-

ричество сюда провели только в начале шестидесятих годов прошлого века. И радио мы долго слушали из здорового приёмника на батарейках, динамики появились значительно позднее. Но и провода представлялись, и одиночество, и тоска затерянного в мире человека. Становилось грустно, и хотелось, чтобы мой дядя пел дольше. Была у него и любимая:

*Вспомни, мама моя, как девчонку чужую  
Я привёл к тебе в дочки, тебя не спросив,  
Строго глянула ты на жену молодую  
И заплакала вдруг, нас поздравить забыв.*

Всегда происходило так: он пел первый куплет, гармонист играл проигрыш, нужно было вступать, а он молчал, опустив голову, потом махал огорчённо рукой и быстро удалялся со сцены. В каждом концерте он пытался исполнить эту песню, и каждый раз не мог допеть её до конца. Хотя мне не раз приходилось убеждаться, память у него прекрасная. Пожилым человеком, работая председателем колхоза, он всю колхозную бухгалтерию держал в голове и только последние полгода, когда заболел, стал заглядывать в отчёты, сильно при этом огорчаясь.

Уже больной, предчувствуя тяжёлые времена, он помог мне купить в деревне Глинки избу, бревенчатую пятистенку в зарослях шалфея. Прежде здесь жила семья пчеловода, этот медонос был посажен у него на огороде. На одичавшей, но богатой гумусом земле он разросся как стихийное бедствие, пришлось в дремучих зарослях торить дорогу к резному крыльцу и колодцу. Хотелось пить, но вода в колодце оказалась затхлой, долго никто отсюда её не черпал. Дядя подбодрил меня детским словечком: «Не дрейфы! Если совсем с работой станет плохо, разведёшь пасеку, мёд всегда и всем нужен. А сохранишь работу – ещё лучше». Шли по стране сокрушительные девяностые, вверху грабили, а у нас, простых людей, трещали головы. Мне же главное было – тылы подготовить, убедиться, что своей дочери мы с мужем дадим полноценное образование.

На следующую весну, когда пахали поблизости колхозные поля, дядя Веня попросил завернуть на нашу картофельную полосу тракториста на МТЗ-80. Минут за восемь вспахал тот одичавшее поле. Мы расплатились с механизатором, а потом втроём – мама, дядя Веня и я – зашли в дом. Здесь было пусто, только старое, с разводами зеркало висело в большой комнате, я подошла к нему, на меня смотрело не моё, чужое лицо. Стало неприятно, вспомнила, как ранней весной приехала сюда одна на автобусе до Крюкова, потом два километра шла пеш-

ком по тракторному следу. Припекало солнце, подсушивая сочащуюся влагой землю, вверху, высоко в небе, заливался жаворонок. Мир и покой вокруг.

Так же тихо и первозданно было и в Глинках. Дачники-соседи ещё не приехали, я с увлечением работала граблями, убирала мусор вокруг своего дома. Земля местами была ещё голой, без травы. Сверху несло медовым запахом цветущего бряда. Но сколько здесь накопилось мусора! Нашла на задворках станок для щепания дранки, тоненьких дощечек, которыми крышу покрывают, ого, да тут целое производство можно открыть! Только богато стали жить, дранка вышла из употребления. Берёзы возле дома разрослись так, что ветки на крышу закинули, надо бы опилить. Подняла голову вверх, и неожиданно холодок пошёл по коже: показалось, что кто-то с чердака за мной наблюдает. Сразу вспомнились рассказы, как в соседнем районе приехавших на дачу мать и дочь зарезал притаившийся в доме беглец-рецидивист. Захотелось обратно на автобус и в Мышкин, но пересилила себя, пошла в избу, стала забираться по лесенке на чердак. Там раздалась прыжки, потом мяуканье. Отлегло от сердца: откуда-то из соседней деревни к нам прибежала кошка. Верно, людей почуяла. И всё же я подумала тогда, что лучше бы мне всё-таки не разводиться пасеку, а заниматься привычным журналистским делом. Ну, да как Бог рассудит!

Мама застлала перевёрнутые ящики чистым полотенцем, выставила колбасу, яйца, бутылку «Российской». Присели на чурбашки, дядя на какой-то оставленный прежними хозяевами в сенях стул. Он вытянул вперёд больную ногу. Ещё нестарым, когда со второй женой Катей начинал жить, упал с чердака, развешивая бельё. Он вообще много помогал жене. Рана не зажила окончательно: дядя в молодости болел полиомиелитом. Ходил потом, до конца жизни прихрамывая.

Они разлили водку по стопкам, выпили за успех моего предприятия, я пить не стала, подошла к окну. Денёк на этот раз выдался хмурым. Собирался дождь, может, поэтому берёза у самого окна пахла томительно и остро своими только что распустившимися листочками, от пашни ветер приносил густой запах земли. Было грустно.

Когда-то в детстве мне случалось заезжать в Глинки на велосипеде. Деревня стояла посредине пути между моим родным Архангельским и деревней Кудреватовской, где жила бабушка. В Глинках тогда было домов тридцать, не меньше. Люди охотно селились здесь. Красиво же на косогоре, недалеко темнеет лес Пугино, в нём зверья полно, грибов, ягод. Сейчас в Глинках – один жилой дом, с резными наличниками, под

железной крышей. Здесь каждое лето живут дачники из Ленинграда. Молодое поколение, мои ровесники, и выросли в городе.

А сегодня я видела дряхлого деда, он шёл к речке. Сказал, что в Ленинграде почти не вставал с кровати, а места, где детство прошло, дали сил порадоваться последнему в жизни лету. Я попыталась его утешить, но он не дал мне говорить, коротко и строго сказал: «Я знаю, что умру».

Задумавшись, я не сразу поняла, о чём разговаривают дядя Веня с мамой. «А знаешь, Лида, – голос дяди Вени дрогнул. – Если бы мама моя сейчас была жива! Пусть она ничего бы не делала, только бы лежала и смотрела. Я бы всё сам смог. И не было бы меня счастливей!» Что-то появилось в его облике – немолодого, грузного человека – беззащитное, как у мальчика, у которого надолго из дома ушла мама и оставила его одного.

Почему-то в эту минуту у меня в памяти всплыл забавный эпизод, из-за которого когда-то с дядей даже маленький спор разгорелся.

Увидела я однажды, как он утром младшего своего сынишку первоклассника Женьку на руках через забор пересаживает, чтобы не бежать мальчишке окружной дорогой в школу на уроки. Сильно удивилась, спросила: «Зачем же ты его так балуешь? Как он жить самостоятельно будет?» Дядя ничуть не удивился моему вопросу, верно, часто его задавали знатоки воспитания. «Руки мои запомнит. Будет знать, что был человек, который мог его через любую пропасть перенести. – Он подумал немного, посмотрел на меня с сожалением и продолжил. – А ругать, Надя, его найдётся кому и без меня».

Тогда я с ним не согласилась. А сейчас, глядя в недавнее и такое уже далёкое прошлое, я думаю, что всё он знал наперёд, и смерть свою раннюю предвидел, и то, что не сможет он дорастить своих поздних детей. Может, и тосковал поэтому по матери, предвидя их раннее сиротство? Кто знает? Но я очень надеюсь, что в том, лучшем из миров, они – мой папа, дядя Веня, бабушка Анна Ивановна и все, по кому плачет сердце, счастливы и с улыбкой благословляют нас.

## НА КОСОГОРЕ У ЛОМИХИ

Снег ещё кое-где лежит в ложбинках на крутом берегу Ломихи, желтеющем прошлогодней травой. Мы каждый день собираем её руками в огромные кучи, подбрасываем веточек, но всё равно костерок не столько горит, сколько дымит. Этот дым пропитывает нашу одежку, волосы, и вечером, ложась спать, всё ещё с радостью ощущаешь этот горьковатый дух начала весны.

Нынче ранняя Пасха, и старушки из окрестных деревень после обеда пробираются в церковь святить крашенные луковой шелухой тёмно-вишнёвые яйца и испеченные в русской печи сдобные с ванилью куличи. Всё это завязано у них в темненькие ситцевые платочки.

Мишка Воронин из Василисина хвастался, что, подкрадываясь сзади к прихожанкам, утащил себе не одно яйцо. Мы ему верим и не верим. Не укладывается в голове, как можно обижать таких умильных и благообразных бабушек. Но... недавно застали Мишку в чужом курятнике за сбором яиц, и с тех пор и за глаза, и в глаза кличут Яишником. Про таких баба Рая, нянчившая меня в раннем детстве, всегда говорила: «Бога не бояться, людей не стыдятся». Я иногда думаю, что Мишка полез к соседям от голода, семья большая, четверо мальчишек, а в колхозе у родителей какие заработки? Ничем другим, кроме любви к яйцам, от наших ребят Мишка не отличается, невысокий, крепенький, малоразговорчивый. Правда, нос у него необычный, растёт он не вдоль, а несколько наискосок лица. С носами братьям Ворониным вообще не очень везёт. Младшего Мишкиного брата однажды тынула за кончик носа собака, целиком не откусила, но всё же красоту попортила, мальчишка остался курносый на всю жизнь.

Мы, здороваясь на ходу со старушками прихожанками, бежим не в церковь, а дальше, на косогор к речке.

Ломиха уже вскрылась, по серой воде вперемежку с разным мусором, тростником, ветками неспешно плывут льдины. А мы дышим кострами, приветствуем весну.

На косогоре, за церковью Михаила Архангела собралась вся наша сельская разновозрастная орава, даже старшие, моя сестра Ира и её подружка Валя Ширшова пришли. Обе они учатся в седьмом классе, мы знаем, что эта весна у них последняя в Архангельском, они оканчивают нашу семилетку. Десятилетка в районном центре, в Мышкине. Но они и туда не поедут, а, как решили родители, будут поступать в далёкий Вологодский молочный техникум. От нас это десять километров на лошади до станции Некоуз, потом четыре часа на поезде до Ярославля и ещё четыре часа до Вологды. В общем, край света. Там, в посёлке Молочное, под Вологдой, они будут учиться делать сыры и масло. Я этот отъезд не одобряю, мне непонятно, зачем учиться давно известному делу. Мама моя – учительница, а масло сбивает каждый месяц. Обычно вечером она усаживается с глиняным горшком, полным густой жёлтой сметаной, на порожек. Чем дольше она болтает в горшке большой

деревянной ложкой, тем медленнее делаются движения, сметана становится всё гуще и желтей, отделяется сыворотка, и вот уже масло готово, хоть сейчас намазывай на хлеб. Варила мама и сыры с сычугом из желудка зарезанных телят, коптили они с папой и оковалки окороков в печной трубе, колбасы. Вкусней этих домашних припасов, наверно, никогда и ничего не удастся попробовать.

Нравится ли им решение родителей, девчонки не говорят, да, наверное, не очень и представляют, что их ждёт. Впрочем, сейчас они не меньше нас увлечены тем, что происходит на Ломихе. Они облюбовали льдину у кладей. Клади – это толстое, обтесанное бревно с перилами, переброшенное через реку и соединяющее село Архангельское с деревней Поповкой. В бурное половодье их, случается, сносит разбушевавшейся Ломихой, но клادي с каждым разом возводятся всё основательнее, бревно через речку перекидывают длиннее, опоры отставляют дальше от русла. В тот год мостик устоял, хотя ледяные заторы случались под ним, как и прежде.

Когда льдины, зашевелившись, стали отрываться из-под кладей, Ира с Валей вскочили на одну из них. Они плыли, засунув руки в карманы, в одинаковых маленьких фетровых шляпках, облегающих головы. С косогора их фигурки кажутся какими-то сиротливыми и маленькими. У меня тревожно замирает сердце: только бы устояли, только бы не разломилась льдина. И только бы на повороте, у затора, можно было притормозить. За затором бурлил воронками мутной воды омут Пахом, он разлился почти до самых домов, затопил прибрежную иву, из воды торчала только крона. Там несло водяных крыс, беспомощно барахтавшихся в мутном потоке, иногда их мокрые маленькие головы накрывало водой, и они то пропадали с поверхности, то снова выныривали в другом месте. Если льдину вынесет туда, ледяной плот закрутит водоворотом, и тогда жди беды. Сердце моё сжималось от дурных предчувствий, минуты плавания кажутся очень длинными.

Причалив к затору, девчонки сошли на берег и присоединились к нам.

Через несколько минут я уже забыла о своей тревоге, и мне самой захотелось повторить героический заплыв. Судьба шла мне навстречу, дядя Кузя Смирнов – его дом стоит на самом берегу Ломихи – со своим младшим сыном, дошкольником Славкой, как раз выбрали у берега большую и толстую льдину. Я бегу к ним и прошу взять с собой. Дядя Кузя секунду колеблется, а потом решительно машет рукой: «Давай быстрее!». Я встаю рядом со Славкой, и дядя Кузя сильно отталкивается шестом от берега. Мы неспешно плывём мимо домов, мимо сестёр Бакулиных, Альки и Нинки, раздувающих

костёр, мимо моей сестры Иры. Я вижу, она удивлённо на меня смотрит, как будто впервые видит. Мне нестерпимо холодно в тоненьком, продуваемом ветром пальтишке, но я гордо улыбаюсь: и я, как старшие, могу рискнуть. Течение неспешное, льдины плывут медленно, мне совсем не страшно. Не знаю, почему я так боялась, когда смотрела на Иру с Вaley с берега.

У затора мы благополучно причаливаем, и я бегу к костру. Их два, один повыше, другой пониже; я выбираю тот, что повыше, там дальше от реки и теплее. Здесь мальчишки пробуют свою меткость, швыряя камнями в речку, выбирают мишенью какую-нибудь льдину. Я тоже пробую бросить голыш, гладенький округлый камушек, их на берегу реки не счесть. Камень даже до воды не долетает, мне это развлечение становится неинтересным, и я начинаю собирать сухую траву, хочется, чтобы костёр горел как можно дольше, с ним уютно и тепло. Занятие увлекает, я забираюсь всё выше и выше по косогору, охалка старой травы и листьев не умещается в руках, и вдруг руки мои опускаются, я слышу пронзительный крик, смотрю вниз: Ира, зажав рукой висок, бежит в сторону дороги. Мишка Воронин и тут отличился, попал камнем моей сестре в голову. У него, оказывается, не только нос кривой, но и руки! Я тоже кричу и бегу, охваченная ужасом, за ней. Мне снова кажется, что произошло непоправимое. Недавно на школьной линейке учитель Буров рассказывал о картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Он показывал маленькую, размером с журнальный листок, иллюстрацию, но всё равно можно было разглядеть страшные, вытаращенные глаза преступного отца. Безумный царь не думал, что произойдёт непоправимое, он сына, наследника, в припадке гнева посохом в висок ударил. Ире тоже попало камнем по виску, самой уязвимой части человеческого тела.

Потеряв сестру из виду, я спешу домой в надежде, что она прибежала сюда. Ожидаю даже увидеть у нас конопатую фельдшерицу Зину. Но дома только мама, она наводит поило скотине, спрашивает меня рассеянно: «Ты почему так рано? Ужин ещё не готов». Какой уж тут ужин? Я не отвечаю. Снова выбегаю на крыльцо и вижу: от рощи вместе с Вaley идёт моя сестра, глаза у неё опухли от слёз, но она улыбается! Висок у неё тоже чуть припух, на нем краснеет свежая царапина. А Валя рассуждает: «А я слышу: одна закричала, побежала, другая тоже с криком за ней рванула. Думаю, кому хоть камнем-то попало?»

Я смеюсь. Мне весело, что всё обошлось, что моя сестра жива и невредима. Хорошо, что и родители ничего не узнали.

## В ЖАРКОМ ИЮНЕ

В детстве и в юности напряжённо, во что бы то ни стало я хотела запомнить не какие-то события, а маленькие подробности: ярко-зелёные молодые листочки в мае в наших старых берёзовых рощах за домом, их острый запах; и узенькую тропинку, бегущую через ручей к школе, и гранитный сиреневый валун возле сельсовета, поблескивающий вкраплениями слюды. Может, потому, что весь этот мир был залит ощущением счастья. А может, отдалённо предчувствуя, что пройдут годы, и этот яркий, цветущий мир исчезнет с лица земли и останется только в моей памяти.

Моё родное село Архангельское обезлюдело. Какое нашествие повымело людей из этих мест, где все сияло красками, звучало, пело? Наше жилище раскатали на дрова лет двадцать назад. Говорят, дом долго сопротивлялся уничтожению, пила отскакивала от просмолённых брёвен. С таким запасом прочности стоять бы ему ещё не один век. Теперь на этом месте даже зимой из-под снега топорщится бурьян. Нет клуба – тоже пошёл на дрова. Когда-то давно сгорел медпункт, его не стали восстанавливать, открыли новый, в Косошилово. Моя родная школа не выжила в этой бескровной войне, сельские ребятишки учатся в Шипилово, а двухэтажное деревянное здание в Архангельском опустело. Даже камень от сельсовета – и тот исчез! Его закатали при строительстве под плиты дороги, протянувшейся вдоль села. Только ходят по ней редко, когда провозят покойников из ближних малолюдных деревень на кладбище. Я не знаю, какой мир реальной – этот нынешний или красочный мир моей памяти?

Это было в жарком июне пятьдесят восьмого года прошлого столетия. На семейном совете принято решение, что я еду одна в деревню Евлановскую на велосипеде. Путешествовать мне хочется, я ощущаю себя самостоятельной, как-никак окончила пятый класс Архангельской школы.

Евлановская – это родная деревня моего папы. Там, в доме, где он вырос, живёт тётя Рая, его крёстная, моя двоюродная бабушка. Во времена моего младенчества она жила у нас, в Архангельском. В отпуске по уходу за ребёнком мама, молодая учительница начальных классов, была всего несколько дней. Дом у нас, несмотря на основательность и крепость, оставался всё время очень холодным. Зимой баба Рая не спускала меня с рук, завлекая рассказами и сказками. Тихая, немногословная старушка, откуда только столько баек набирала, чтобы занимать дитяту?

И вот я стою на узенькой тропинке у дома под берёзами. Папа размашистыми шагами спускается с

крыльца. Он в белой рубашке, волнистые волосы на голове его треплет набегающий ветерок, укладывает их направо и налево – по-всякому красиво. На ходу он просит повторить названия деревень, через которые буду проезжать. Я в который раз повторяю: «Спирдово, Марганово, Жуково, Введенъё, Евлановская». Торопится из огорода мама со строгим наказом: «В Спирдове заедешь в школу к Екатерине Фёдоровне, она выведет тебя на дорогу к Марганову, а дальше и заблудиться-то негде». Папа меня подбадривает: «Всего каких-нибудь пятнадцать километров». А что меня подбадривать, сама захотела путешествовать. Я еду по тележной дороге мимо низинок в зарослях ивняка и осинника, здесь мы в середине лета будем собирать ядрёные буроголовики, подосиновики. Въезжаю в берёзовый лес, он тянется по обе стороны дороги, пьянящий дух свежего берёзового листа заглушает все другие запахи. Где-то рядом начинает куковать кукушка, я не гадаваю, сколько лет мне на свете жить. Во мне смутно живёт ощущение, что шутить такими вещами не стоит.

Три года назад я сильно болела, простудилась, катаясь на льдине в половодье на нашей разлившейся Ломихе. Лечила меня местная фельдшерница Зина, перепробовала все таблетки, но температура не спадала. Мне разрешали выходить на улицу, но и это не радовало: мир, казалось, потерял краски и запахи, всё стало скучно и неинтересно.

Когда в конце мая мама привезла меня в районную больницу, детский врач, Лидия Ивановна Кочнева, посмотрев рентгеновские снимки, простукав согнутым пальцем грудную клетку, о чём-то вздохнула. Потом, когда меня уложили на больничную койку, она строго сказала маме: «Задержишься вы ещё на три дня в своём селе, ребёнок бы погиб». Оказывается, у меня развился гнойный плеврит, в районной больнице пошло массажное лечение таблетками, уколами, компрессами, была здоровенной иглой сделана операция по откачиванию из плевры гноя. Наконец, стало легче, и вот праздник – врач Лидия Ивановна разрешает выходить на улицу.

Вишнёвый и яблоневый сад под окнами детского отделения ронял плавно свои лепестки, я подошла к глухому забору, отделяющему территорию больницы от большой дороги, забралась на чурбашек, приставленный к столбу, и задохнулась от удивления: прямо за дорогой синела необозримо широкая, синяя, сверкающая на солнце бликами Волга. Когда мама привезла меня в Мышкин, я её не заметила, всё сливалось в тусклый день. У пристани, как раз напротив нашего отделения, пыхтел, дымя трубой, чудо света, однопалубный пароход. На берег сходили люди, они приехали из дальних больших

городов и выглядели не по-здешнему красиво. С тех пор я стала мечтать о путешествиях.

А кукушку я побоялась спрашивать, сколько лет осталось жить, наверное, слишком близко подошла в своё время к грани, отделяющей жизнь от смерти, и ужаснулась. Зря не спросила, она куковала долго-долго, почти всё время, пока я до Спирдова ехала. Наверно, больше ста раз!

Школу я нашла сразу, Екатерина Фёдоровна, напоив меня чаем с конфетами, таких, мятных, я никогда не пробовала, выводит меня на дорогу к Марганову. Она суёт мне в карман горсть орешков, улыбаётся: «Зубки молодые, погрызёшь». Маленькие глаза её сияют такой любовью и лаской, что я сразу вспоминаю все добрые рассказы про неё: Екатерина Фёдоровна – мамина первая учительница. Веду до торной дороги, на которую мне указали, велосипед в руках, оборачиваюсь и вижу: Екатерина Фёдоровна торопливо крестит меня вослед. Потом уже, заезжая к ней, восьмидесятилетней, в этот дом навестить, я узнаю, что всю жизнь передовая в своей округе учительница верила тайно в Бога, памятуя наказ отца, погибшего в лагерях сельского священника. Я часто буду ездить по этой дороге от деревни к деревне, лесами и полями, и всегда без происшествий. Бог хранил!

В селе, у Введенской церкви, я делаю передышку, чтобы посмотреть на село. Мама рассказывала, что в войну она работала здесь в начальной школе учительницей. И как-то зимой, выйдя вечером из леса, увидела за домами, на опушке леса, матёрого волка. Шла она от матери из Кудреватовской, время было голодное, она жила в деревне первую зиму, приехала из Ленинграда. Посадить на земле, выделенной сельсоветом, ничего не успела, даже картошку, так что рассчитывать приходилось только на хлебный паёк да на родительскую помощь. А бабушка и сама бедовала с пятью младшими детьми, деда забрали на фронт. Не много она могла дать своей любимой старшей дочери. В руке у молодой учительницы был бидончик с квашеной капустой, который она несла осторожно, берегла, и при этом припоминала обидные слова младшего брата, своего крестника Вити: «Нам еды дома не хватает самим, а ты к нам всё ходишь».

Увидев волка, мама все обиды забыла, бросилась бежать по целине к крайнему дому, где тогда квартировала. Но, как со смехом потом рассказывала, ручку бидончика с капустой ещё крепче сжимала. На волка она при этом больше ни разу не взглянула: а вдруг за ней бежит? Такого ужаса она не выдержала бы. Потом долго сидела на крыльце, не имея сил войти в избу.

Волки и к нам, в село Архангельское, тоже зимой

прибегали. Была я тогда совсем маленькой. Студеной ночью услышали мы вой, приближающийся из леса. Папа оделся, снял ружьё со стены, зарядил его. Мы с сестрой вскочили с постелей, натянули валенки и пальто и пошли в коридор. Было холодно, жутко и весело. Спустившись со ступенек, папа выставил дуло двустволки в щель над дверью. «Смотри, смотри, – толкнула меня сестра, – глаза-то какие». Я заглянула в щель. Прямо на меня светили два зеленоватых огонька. «Отойдите, – шепнул папа напряжённо. – Сейчас стрелять буду». Грянул выстрел, огоньки, сколько мы ни заглядывали в щель, пропали. А утром возле дома на снегу мы не нашли ни следов крови, ни клочка шерсти. Впрочем, больше волки в село не приходили.

Летом волки человеку не страшны. Поэтому я без боязни въезжаю на узкую лесную дорогу, ведущую к Евлановской. Здесь сумрачно, кроны ёлок, растущих по обеим сторонам дороги, смыкаются, образуя густой тёмно-зелёный свод. Пахнет прошлогодними листьями, хвоей.

На опушке, где полуovalом вдаётся колхозное поле, я увидела несколько женщин. Они шли цепью, как солдаты, и пели: «При лужке, лужке, лужке, при счастливой доле». В такт песне каждая опускала правую руку в лукошко, подвязанное на уровне талии, и, достав что-то из него, делала взмах перед собой. Это напомнило, ну конечно же, картинку из учебника истории, иллюстрирующую, как сеяли в девятнадцатом веке крестьяне. Женщины подошли поближе, и в одной из них я узнала бабу Раю. Она тоже узнала меня, заулыбалась, замахала рукой, подожди, мол. Сеяльщицы дошли до края поля, и баба Рая поспешила ко мне. Она стала, кажется, ещё меньше, на полголовы ниже меня. «Как видишь, не печь кормит, а поле, – от быстрой ходьбы она совсем не задохлась. – Подожди меня, – просит баба Рая своим низким глуховатым голосом. – Сейчас досеем клевер и пойдём домой. Присядь где-нибудь, только под ту берёзу не ходи, – она кивнула в сторону столетней берёзы на поляне. – Мы только что там змею нашли и убили».

А я эту змею приняла за обыкновенный обрывок верёвки, висит на сучке, на ветру качается. «А волков у вас здесь нет?» – пошутила я, чтобы прогнать неприятное чувство от такой новости. «Зимой – сколько угодно, сейчас они только на глаза не попадают, у нас в Пугине все живут: и волки, и медведи, и лисы», – серьёзно ответила баба Рая. Ох, не зря люди свой лес таким страшным именем назвали!

В родовом доме папы славно: очень просторно и светло от высоких потолков, больших окон. Никаких лишних вещей, в парадной комнате стоят стол да лавки, да ещё в красном углу много икон с

тёмными ликами, я узнала их, в детстве баба Рая водила меня в церковь: Спаситель, Богородица, Николай Чудотворец. По утрам, когда я ещё спала, бабушка пробовала подкашивать усадьбу, трава выросла не очень высокая, но старушка, по своей медлительности, боялась не успеть заготовить сено для козы в обычные сроки. Потом мы ворошили валки, пахнущие подвявшим клевером и одуванчиками, июнь стоял жаркий, всё сохло быстро. Было душно, ветерок, казалось, не залетал в деревню в полуденные часы.

Искупаться в Евлановской негде, речка Сутка текла в десяты километрах от неё. Баба Рая кивала на пруд возле дома Хайналайненов, финнов, высланных с Карельского перешейка. Вот уж в пруду я купаться не намерена, несмотря на всю свою сговорчивость. Дно там вязкое, илистое, вдруг пиявки присосутся к ногам. Противно! А вот соседями заинтересовалась. Старшая из дочерей, Херта, её евлановцы целомудренно называли Фертой, скрашивая неприличное созвучие, жила самостоятельно в ближнем городе, Рыбинске, и училась, кажется, на фрезеровщицу. Я подружилась с моей ровесницей, Айной. Была она, как и вся семья финнов, светловолосая, сероглазая, очень молчаливая и задумчивая доброжелательная девочка. Обычно мы на лавке возле дома Хайналайненов подолгу играли, расставляя, укутывая и укладывая спать наших самодельных тряпичных кукол. Но однажды я по своей деревенской привычке считать открытыми все двери зашла за Айной в их избушку в неурочное время. Здесь тесно, хотя и нет кроватей, за небольшим деревянным столом, вплотную друг к другу, сидят и маленькие, и взрослые. Они едят из одной миски деревянными ложками, что, я так и не могу понять с первого взгляда, а второй здесь мог показаться бы и неприличным, это понятно. Никогда не видела таких кушаний! Какие-то кусочки, замоченные в беловато-голубенькой водичке. Айну, конечно же, потом я постеснялась спросить об этом, а вот баба Рая ничуть не удивилась моему вопросу: «Бедно живут, – вздохнула она. – Гусиное молоко едят». – «А что такое гусиное молоко?» – недоуменно спрашиваю я. «Молоко разбавляют водой, крошат туда хлеб, тем и питаются», – невозмутимо разъяснила баба Рая. Хайналайнены жили так бедно, что не могли купить корову, развести кур. Мне жалко Айну, и, честно говоря, я удивляюсь, почему баба Рая, очень добрый человек, нисколько не сочувствует соседям. Потом поняла – деревню к тому времени пропустили через такие жернова, что «гусиное молочко» не казалось каким-то великим испытанием, самим приходилось голодать.

В Евлановской народ жил крепкий, рослый, хозяйствовать на земле умели, поэтому в тридцатые

годы от советской власти пострадали, считай, поголовно. Деда моего, Александра Максимовича, сослали на лесоповал под станцию Буй за то, что в двадцатые годы поверил в план кооперации в деревне и организовал с мужиками на паях колбасный цех. Бабушка с четырьмя детьми, папа самый старший, оказалась на улице, дом у «кулаков» отобрали. Потом пришлось его выкупать обратно за три тысячи рублей. А в доме и жить оставалось семье недолго. Дед погиб в войну, в 1945 году, освобождая Югославию, в Румынии – средний брат, Коля, бабушка, крепко простудившись, умерла вскоре после войны, а трое взрослых детей Кусковых разъехались кто куда, среди них и старший, мой папа. Вот и пришлось маленькой бабе Рае, вековухе, как её в недобрые минуты звала старшая, крутая на слово, сестра, поддерживать жизнь огромного дома. Одной ей большого хозяйства не надо – и всего-то у неё коза да несколько кур, а хватает.

Как-то в обед она послала меня подоить привязанную на усадьбе козу, я взяла бидончик, ведёрко с поилом, которое навела баба Рая. Дашка, так звали козу, отнеслась ко мне поначалу дружелюбно, стояла смиренно, была занята едой и даже сдавала мне молоко, не утаивала. Я уже надоила больше полбидончика, когда она переступила своими грациозными ногами балерины, задней попала прямо в узкое горлышко подойника. Я чуть не заплакала! Баба Рая хотела варить манную кашу, а тут, считай, всё молоко испорчено. Пока несла его домой, пенящееся, плотное даже на вид, решила старушке ничего не говорить, чтобы не расстраивать. На кухне сложила марлю вдвое и процедила. Навоза, на удивление, осело не так уж и много, марлю я выполоскала и со спокойной душой повесила сушиться на гвоздик. Простодушная баба Рая ничего не заметила, да и мудро было, нюх, как она сама говорила, ей от хронического гайморита отбило. Наверно, я бы забыла вскоре этот оставшийся без последствий эпизод, если бы не один случай.

Баба Рая была верующая, набожная старушка, когда жила у нас в Архангельском, водила меня в церковь по выходным и праздникам. Здесь, в Евлановской, научила меня первым молитвам, а однажды вечером, когда мы с ней управились с делами, попили чаю и сумерничали, рассказала мне историю про Зоино стояние. Баба Рая говорила медленно, от этого рассказ звучал торжественно, мы сидели в большой комнате, под иконами, с божницы очень строго смотрел на нас Николай Чудотворец. Косые лучи заходящего солнца бросали на стёкла красноватые блики.

По словам бабы Раи, произошёл этот случай недавно в Рыбинске. Девушка Зоя в компании друзей

ожидала на вечеринку жениха, тот задерживался, и тогда она схватила икону Николая Чудотворца и закружилась с ней в танце, воскликнув: «Вот мой жених!» Её суженого тоже звали Николай. Это был последний танец в жизни Зои. С иконой в руках застыла она посреди комнаты неожиданным извятием. Гостей ужасом размело по домам, родные пытались взять икону из рук, уложить Зою, безгласную и бездыханную, на кровать. Увы, всё безуспешно. Тогда решили опилить вокруг неё пол, но отступились, потому что из половиц пошла кровь. Это место расказа меня особенно ужаснуло, и я непроизвольно взяла бабу Раю за руку, она поняла меня, успокоила: «Только грешники великие такое терпят. К хорошим людям Бог милостив». Потом, взрослой, я читала этот апокриф. Произошёл случай не в Рыбинске, а всё остальное в рассказе моей доброй старушки было точным.

Никогда в жизни я не боялась так, как в то жаркое лето у бабы Раи в Евлановской. Казалось, строгие глаза Николая Чудотворца с иконы укоряли меня за скрытность и лукавство. Дошло до того, что в доме не могла оставаться одна, если куда-нибудь уходила баба Рая, то и я на улицу вон. Мука становилась непереносимой. И вот однажды днём, когда баба Рая ушла в магазин в Шестихино, я сидела сиротливо на камушке во дворе, Айна в этот день проходила школьную практику, а проще говоря, работала на пришкольном участке, податься было некуда. Я затосковала по дому, по сиреневому блестящему камушку возле сельсовета, диванчику, как мы его называли, на котором так хорошо играть с девочками Бакулиными, по маме с папой. И вдруг сквозь наворачнувшиеся слёзы увидела, как по дороге от леса быстро приближаются две велосипедистки. Глазам своим не верю: в белом сарафане моя старшая сестра Ира, рядом в синем платье её подружка Валя Ширшова.

Через час мы были уже на пути в Архангельское, всё внутри ликовало – я еду домой! В селе, завидев нас, от школы бежала Айна, руки у неё были испачканы в земле, наверно, гряды полола. Она что-то кричит, сестра смотрит на меня вопросительно: остановимся? Я же почему-то говорю: «Поедем быстреей». Когда мы отъезжали, я оглянулась, маленькая сиротливая фигурка неподвижно застыла под развесистой ивой. Острая жалость, недовольство собой мучили всю оставшуюся часть пути. Я молчала и чуть не плакала. Конечно, мы больше не встречались, Хайналайнены, когда представилась возможность, переехали в родные места. А если бы и встретились, как бы я Айне объяснила, почему её обидела?

## ЖУРАВЛИ

На усадьбе, за санным сараем, мы играем в войну, это почти единственная игра, которую знаем мы, послевоенные дети. Игра в самом разгаре, а Алькина мать уже кричит, надрывая голосовые связки: «Алька, нечистый дух, долго будешь без дела по усадьбе шляться? Иди сюда, кому говорю?» Спрятавшись за сарай и хлюпя неизменно красным, простуженным, широким носом, Алька быстро-быстро бормочет: «Чего привязалась, не даст спокойно пожить... Поди, опять тошнотики потребовались?» – «Алька, кому говорю!» – неотвязно звучит в ушах. Наконец, устав кликать свою белобрысую непослушную дочь, мать, тётя Валя, сама идёт к сараю и, вытряхнув из его глубины Альку за шиворот, грозно спрашивает: «Ты почему не откликаешься?» – «Я не слыхала», – невинно глядит на неё безмятежными ясными глазами дочка. «Ишь, не слыхала! Весь голос выкричала, не докличешься!» – уже мягче говорит мать. «Чего звала-то, опять за тошнотиками пошлешь?» Мать виновато улыбается: «Муки на три замеса осталось. Чем семью кормить будем? Сама знаешь, какие у нас с отцом зарплаты!».

Тётя Валя сторожит по ночам сельповский магазин, пекарню и склады, их хорошо видно из окон дома Бакулиных. Отец, дядя Саша, инвалид войны, у него было пулей пробито горло, возит на лошади в то же самое сельпо продукты. Ещё они работают в колхозе, но денег и продуктов на ораву в семь молодых, жадных до еды ртов не хватает. Часто тетя Валя мелет на ручных жерновах рожь и печёт лепёшки. Они у неё получаются очень пышными и вкусными. Сейчас тётя Валя озабочена, и Алька, глянув на неё, снижает: «Да я что, я схожу, тащи ведро».

Я с сожалением смотрю на Альку, без неё нашей игре не хватает азарта и всамделишности, мне почему-то становится жалко подружку, и я предлагаю: «Хочешь, Алька, я с тобой пойду?» «И я», – поддерживает Валерка, тоже постоянный член нашего военного отряда. Алька благодарно смотрит на нас.

Мы идём не дорогой, которая похожа на зыбучую и бесконечно глубокую трясины, а полем. Оно желтеет и чернеет прошлогодней растительностью, сочится, переполнившись, весенней водой. Пронзительный ветер продувает наши перешитые из старья пальтишки, и, чтобы согреться, мы идём быстро, почти бежим. Не мёрзнет один Валерка. На нём чёрное пальто с блестящими солдатскими пуговицами, предмет всеобщей зависти. И я спрашиваю его: «Как же ты в таком пальто картошку бу-

дешь копать?» – «С чего ты взяла? И не собираюсь», – заносчиво отвечает Валерка.

Я злюсь. Я молчу. Молчит и Алька. А Валерка будто и не замечает, как мы молчим. «Очень нужны мне ваши тошнотики. Гниль одна. Лепёшки – и то из них чёрные получаются... А у нас вчера мамка пироги пекла!» Я не выдерживаю: «Шёл бы и лопал свои пироги, чего с нами попёрся?» Валерка будто и не обижается. «Мне к Витьке в Василисино надо, с вами по пути...» Витька – его дружок, сидит с ним за одной партией, черноволосые, один побольше, другой поменьше, они похожи на двух жуков-братьев.

Колхозное поле с прошлогодней картошкой ещё далеко, надо дойти до Василисина и двигаться дальше, к лесу. Шагать скучно, но и говорить не хочется. И вдруг среди тишины – чудо. Хрустальный звон несётся откуда-то сверху, потом мы слышим шум крыльев. Поднимаем головы – прямо над нами летит журавлиный клин. Я первый раз вижу журавлей так близко – их широкие крылья, вытянутые вперёд шеи. И, не скрывая радости, ору что есть мочи: «Журавли!!!» – «Тише ты, – дёргает меня Алька за рукав. – Ведь они сейчас садиться будут».

Мы, спотыкаясь и падая, бежим вслед за журавлями, чтобы увидеть их ещё ближе. Журавли садятся на небольшое болотце в редких зарослях осины, издали они похожи на льняные снопики, поставленные для просушки. «Какие большие, – шепчет Алька, а на небе совсем маленькими кажутся». «Красивые», – говорю я. «А я слышал, – говорит Валерка, – журавлиное мясо вкусное». Мы недоумённо смотрим на него, а он невозмутимо продолжает: «Сейчас пойду поймаю одного». И, осторожно пригибаясь, крадётся к болотцу. Мы ошалело переглядываемся, потом Алька огромными прыжками настигает Валерку и тычет со всего маху кулаком в спину, валит на землю. Валерка не слабей, конечно, Альки, но её ярость и натиск так велики, что Валерка успевает только орать и отбиваться. Алька беспощадно тузит его кулаками, приговаривая: «Вот тебе за журавлей! Вот тебе за журавлей!»

Они не видят, как медленно и равнодушно поднимаются журавли. Я и сама замечаю это только краем глаза, потому что прыгаю вокруг дерущихся, пытаюсь разнять их. Наконец Алька устало встаёт с земли, за ней Валерка. Его заносчивая гордость, новенькое пальто-демисезон, сверху донизу перемазано глиной, клочьями висит на светлых пуговицах прошлогодняя трава. Валерка утирает разбитый нос, чистит пальто и ругается: «Дуры, вот дуры же! Поверили?! Да разве поймал журавля! Он долбанёт раз в темечко и – покойник. Я ведь так... Я нарочно...» Но мы не верим Валерке. Мы уходим от него, и он не идёт вослед.



А вечером на кухне у Бакулиных мы едим тошнотики. Мы торопимся. Холодными их невозможно есть, потому что тошнотики – это лепёшки, которые пекутся из прошлогодней мороженой картошки. Мы едим их, и мы счастливы. Алькина мать стоит в стороне у печки и глядит на нас.

### КОСТЫЛЬ

Ребята бегали в классе и в коридоре так, что на столах звенели чернильницы-непроливашки и ручки с металлическими перьями.

Валерка Мальцев, пользуясь тем, что поблизости нет учителей, проскочил, как заяц, по скамейкам.

Костя Смирнов в этих развлечениях не участвовал. Он сидел, не выходя из-за парты, чуть наклонив голову, на сероватом лице его застыла гримаса не то боли, не то неудовольствия, широкий лоб прочертила поперечная морщина. Он старше всех нас, даже не второгодник, а третьегодник, в Спирдовской школе так долго его учили. У Кости на голове чёрные, давно не стриженные волосы топорщатся в разные стороны, как колючки у ёжика. Вид не ахти какой. Мне на мгновение он даже стариком показался, так безрадостно смотрел. Да и эта морщина на лбу. В нашем пятом классе ни у кого на лице морщин больше не было. У Генки Семёнова, второгодника, были, правда, пятна на шее. Так это оттого, что он маленьким ещё кипящий самовар на себя опрокинул и сильно сжёг кожу, даже за его жизнь опасались. Генка и сейчас спокойно на месте не посидит.

А Костя за всю перемену из-за парты не вышел. На уроке он, впрочем, тоже с места едва приподнялся, когда Александра Михайловна, учительница по литературе, вызвала его к доске. «Я не знаю», – едва разжимая бледные губы, ответил он.

Маленький Вовка Кудряшов съехидничал: «Что вы его про Дубровского спрашиваете, он и про Колобка не знает». Мальчишки, пришедшие в наш пятый класс из Спирдовской начальной школы, дружно засмеялись. Александра Михайловна, стукнув указкой по столу, громко сказала: «Кудряшов, я тебя не спрашивала!» Щеки и даже выпуклый лоб покраснели, большие глаза налились влагой. Я испугалась: а вдруг учительница, такая взрослая, сейчас на наших глазах заплачет? Но она справилась с собой и снова очень мягко обратилась к Косте: «Надо учиться, Смирнов, надо читать». Этих её слов почти не было слышно. В классе шумели, Валерка Мальцев встал с парты, отошёл назад и дал щелбана Вовке Кудряшову. Тот взвыл во всё горло. Тут зазвенел звонок, застучали крышки парт, Александра Михайловна, нап-

рягая голос так, что вздулись жилы на шее, продиктовала задание на дом, собрала книжки, тетрадки и журнал, сделала шаг к Костиной парте, но передумала, повернулась и направилась к двери. На её большой голове аккуратная, как у девчонки, корзиночка из жиденьких кос показалась жалкой. Бедная, бедная Александра Михайловна!

Учительница мне очень нравилась. Она первый год после окончания института преподавала в Архангельском. Это была высокая полная девушка с умным лбом и ясными большими глазами. По доброте своей и неопытности она на первые шалости мальчишек на уроках не обращала внимания, с увлечением рассказывала нам о творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Слушать её было интересно, но с каждым уроком всё трудней и трудней. Мальчишки, особенно спирдовские, раз от раза, не встречая отпора, нагнали. Даже стали ходить на уроке от парты к парте. Александра Михайловна в отчаянье шла к директору. Тот приходил в класс, глядел чуть насмешливо с высоты своего большого роста на нарушителей, и сразу же устанавливалась звенящая тишина. Все же он говорил несколько приличествующих моменту слов, забирал с собой в учительскую самых шустрых, Валерку Мальцева или Вовку Кудряшова, на какое-то время мера эта помогала. Потом всё начиналось сызнова. Сегодня шум спровоцировал Костин отказ идти к доске.

Костя был бы выше всех наших мальчишек, если бы не сутулился и не ходил на полусогнутых ногах. Они у него не разгибались в коленях. Походка у него была скованной и мучительно-медленной, впору бы батожок в руку. С мальчишками из своей деревни он не дружил. Они его дразнили: «Костыль», – и пели: «По военной дороге шел Костыль кривоногий, а за ним восемнадцать цыплят, он зашел в рестораник, чекалдыкнул стаканик, а цыплятам купил шоколад».

Я подошла к окну, где за партой сидел Костя. Маленькие, глубоко посаженные глаза его смотрели на меня доброжелательно и с интересом. Поэтому я и спросила его первое, что пришло в голову: «Ты почему к доске не пошёл?» Он усмехнулся бледными тонкими губами: «Да я взаправду ничего не знаю». Понять такое мне было трудно. Чего тут не знать, молчи да слушай на уроке, потом пересказывай. Я выжидательно смотрела на своего одноклассника. И он, поняв меня, добавил с неохотой: «Всё равно последний год в школу хожу. Работать буду». И опять непонятно мне, почему он так решил. Ведь у нас все должны учиться, восьмилетку хотя бы окончить. Тех ребят, которые уж совсем туго понимают, учителя

после уроков оставляют, дополнительно с ними занимаются.

Конечно, я вижу, что Костя из бедных бедный. На нём полинялая хлопчатобумажная курточка, протёртые штаны и резиновые сапоги до колен, хотя на улице совсем ещё сухо, не только из Спирдова, за сто километров можно в башмаках идти – и не запачкаешься. Но не настолько же он бедный, чтобы совсем не учиться!

С того памятного всем урока Александра Михайловна Костю к доске больше не вызывала. Да и другие учителя тоже. Впрочем, наш маленький учитель математики пытался как-то бороться с сидячей Костиной забастовкой, подходил к парте, где сидел упёртый ученик, и задавал индивидуальное задание. Успех был тот же.

Спирдовские мальчишки пытались по-прежнему дразнить своего не очень везучего товарища. Он уходил от них, нахмутив лоб. Если нужно было оставаться в классе – молча, с привычной для него болезненной гримасой, смотрел в окно. Наконец и неугомонные его земляки, похожие на взъерошенных суетливых воробьёв, отстали. Даже им стало неинтересно. Что толку давать обидные клички, если человек их как будто и не слышит? В школу и из школы Костя по-прежнему предпочитал ходить один.

Однажды он опоздал на первый урок. На перемене я по привычке подошла к любимому окну, из него видно было церковь, крутой спуск к Ломихе и, главное, берёзовую аллею, которую мы посадили перед школой на уроках труда.

Я отыскала деревце, посаженное мною вместе с моей подружкой Катей Сидоровой, и гадала, приживётся ли оно? Костя со своей парты смотрел в ту же сторону, но не на наши берёзки, а куда-то дальше. На этот раз я его ни о чём не спрашивала, он сам рассказал, что в лесу рядом с дорогой видел несколько ежей, наверно, ежиха с выросшими ежатами. Услышал собачий лай, испугался за маленьких зверьков и остался сторожить их, чтобы, когда надо, отогнать собак. Ежата были чуть поменьше ежихи, такие уже самостоятельно живут, а эти тянулись за ней по высохшей осоке так, что треск стоял. Когда Костя рассказывал эту историю, маленькие его глазки светились удивлением, он стал не похож на себя, угрюмого, отстранённого от всех наших дел подростка. «А ты откуда знаешь про ежей?» – спросила я. «Коров пас три лета, на всех насмотрелся, и на ежей, и на зайцев, волков даже видел», – усмехнулся он краешком бледных губ. Я с уважением посмотрела на него. Быков в стаде я опасалась, когда случалось мимо проходить. Да и некоторые коровы были бодливыми, увидят человека, наставят рога и грозят на них подцепить, идут

следом. А этот двоечник со всеми ними справлялся. «Ты один пас?» – робко спросила я его. «С дядькой Колей», – коротко ответил он, словно устыдившись, что так много рассказал о себе.

Перед Новым годом Костя совсем перестал ходить на занятия в школу. «Верно, на работу устроился», – подумала я про него. А дольше о том, куда делся наш третьгодник, было некогда думать, потому что другие события захлестнули школу. У нас проходили сборы, линейки, я вместе с несколькими ребятами занималась фотоделом в кружке, им руководила Александра Михайловна.

По вечерам в кладовке, оборудованной под лабораторию, мы проявляли пленки и печатали фотографии. Александра Михайловна была с нами в это время совсем другая, чем в классе, весёлая и разговорчивая. Да и на уроках она стала ровней, спокойней. У неё уже не так шумели, да и она уже не так расстраивалась из-за неудач с дисциплиной. Может, и расстраивалась, да нам уже этого не видно было, скрывать научилась.

Она была очень добрая и впечатлительная девушка. Часто, рассказывая о литературных героях, она останавливалась взглядом на пустующем месте у окна, там сидел когда-то Костя Смирнов, и глаза её становились ещё грустней. Будто она что-то знала о нём, чего не знаем мы.

Ах, милая, добрая Александра Михайловна! С какими же мечтами вы отправлялись в нашу глухомань из своего общежития в Ярославле. Наверно, думали, как по вечерам в тепло натопленном классе будете своим ученикам поэму «Цыганы» читать. Она не входит в школьную программу, но поэму вы знаете наизусть. И, конечно же, сможете передать сельским детям свой восторг перед великим русским словом. А ещё, признайтесь, мечтали вы на общежитской койке об умном, добром, не испорченном городом деревенском парне. Пусть он мало образован и мало читал, думали тогда вы, но он любит природу, детей. И вас тоже будет крепко любить.

Святая наивность! Всё совсем-совсем не так оказалось. Вы живёте в Василюсине, за два километра от школы, у хозяйки на квартире, помогаете ей по хозяйству. Вместе стряпаете ужин, так дешевле и удобней. Длинные вечера коротаете за книжкой, за любимым Пушкиным, и хозяйка, не очень далёкая женщина, ворчит, что слишком много стало у неё уходить керосина с новой квартиранткой. Намёк понят, нужно гасить свет и думать в темноте о том, как всё-таки неудачно начинается самостоятельная жизнь. Мечты об умных и отзывчивых учениках как-то совсем не совпали с тем, что в реальности. Какой, к примеру, Дубровский заинтересует Костю Смирнова, больного недокормленного заморыша?

Говорят, от отчима, когда тот в подпитии разбухнется, мальчишка бегством спасается. И в стогах не раз ночевал, даже зимой. Там и ревматизм заработал. Последний побег и совсем неудачным оказался, слёг её пятиклассник. И ни за что не признаётся, из-за чего ему так плохо. А если и признается, то что делать? В детдоме ему будет ещё, наверно, хуже.

А с умным, добрым, который полюбит её и поймёт, и того не легче. Недавно зашёл вечером к ним в дом сосед, демобилизованный с флота Мишка Соловьёв, вы с хозяйкой ужин готовили в это время на кухне.

На улице в тот вечер было неуютно, холодно, а морячок пришёл без бушлата, в одной тельняшке и фасонистых клёшах. Он был невысок, ниже её ростом, взгляд тёмных, набрякших глаз был тяжёл и нахален. Он улучил момент, когда хозяйка вышла в комнату, ляпнул её по задку пятернёй и шепнул: «Приходи завтра на беседу, собираем в моём доме». Руку его короткопалую, сильную, конечно же, с негодованием отвела. А вот следующим вечером, заслышав голоса, звуки гармошки возле соседнего дома, собралась к Мишке на свидание. Платье у неё одно, в нём она и на уроки ходит, в серую клетку с белым воротничком. Воротничок из репса она отпоролла, постирала особенно тщательно. Потом взяла у хозяйки утюг, совком ссыпала в него горячие угли из печки и долго заглаживала складки платья, пока оно не стало таким, как будто только что из мастерской.

Мишка ей был вроде бы неприятен: нахальный и неотёсанный. По всему похоже, и неумён. И в то же время чувствуется в нём какая-то притягивающая сила. К тому же никто в этой деревне на свидание её больше не звал. Где их, умных, взять? На беседу она всё-таки не пошла. Не очень прилично учительнице в табачном дыму кадрили дробить. Там по лавочкам, наверно, и ученики её расселись, уши наврострили. Им такие картинки только подавай. То-то бы позабавились.

Она долго в тот вечер не спала, а потом снилось ей лето, жаркое солнце и тропинка к речке Сутке, по которой она каждое утро бегала купаться, когда жила в родительском доме. Она уже слышала запах речной свежести, шелест тростника под ветром. Но тропинка всё не заканчивалась, а она всё бежала и бежала. Проснулась в большой тоске, ей хотелось домой, к жарко натопленной печке, к маминым пирожкам с капустой.

За окном хлестал ветер, шёл мелкий унылый дождь, дорога вдоль Ломихи к школе представлялась длинной и грязной. Но Александра Михайловна обула боты, приталенное демисезонное пальто, мать телёнка продала, чтобы Сашенька в ателье в

Ярославле сшила первую в жизни новую приличную верхнюю одежду, и затемно, чтобы первой попасть в школу, двинулась в путь. День выдался, как всегда – с маленькими радостями и большими огорчениями. Были хорошие ответы у доски учеников, иногда она чувствовала контакт с классом, но он тут же нарушался, пропадал, потому что она не умела пристрожить двоечников, которые по-прежнему пошумливали на уроках.

Домой возвращалась тоже затемно, засиделась за проверкой диктанта. Она уже ступила на крыльцо, когда от соседнего дома вышла высокая коренастая фигура – Мишка. Александра Михайловна заволновалась, покраснела. Хорошо, что в сумерках не видно. Её волновал пьянящий запах палого листа, им был настоян осенний воздух, и слова эти сказанные полушёпотом, хрипловато: «Ты почему на беседу не пришла? Я ждал». – «Некогда было». – «Не ври. Давай не будем дурить друг друга. Выходи за меня». Саша промолчала, потому что боялась выдать голосом волнение. Никто её до сих пор замуж не звал. По деревенским меркам, она была перестарком – 23 года. Пока училась в институте, было рано замуж выходить, приехала в деревню – оказалось поздно. Мишка схватил её руку, безвольно опущенную на перила: «Не согласишься – дурой будешь». Она вырвала руку и шагнула в коридор, оставив Мишку стоять у крыльца. Но с этой ночи он стал сниться ей, просыпалась после этого с головной болью, с разбитостью во всём теле. И однажды, рассердившись на всё на свете и на себя тоже, решила: «Если ещё раз позовёт замуж – соглашусь».

Свадьбу назначили на Новый год. Дни полетели веселей и незаметней. Александра Михайловна съездила в город, привезла белого штапеля, купленного по большому благу, и заказала платье у василисинской портнихи Шуры Рыжей. Та ткань похвалила, ляжет в платье хорошо, пообещала: «Королевой будете, Александра Михайловна».

Саша с женихом встречалась больше на людях, а когда они оставались вдвоём, то говорить особенно было не о чем. Признался ей как-то Мишка, что всегда хотел жениться на образованной. «На институте моём, что ли, женится», – мелькнула вялая мысль. Спрашивать о том, сколько лет учился её жених, было почему-то неудобно. Да она и сама знала, что у Мишки в лучшем случае четыре класса, пятый коридор. Поэтому спросила другое, что пришло в голову: «Зачем тебе образованная жена?» Тот не удивился: «Если на фирме жена работает – от неё силосом пахнет, а от тебя, лапушка, «Красной Москвой» тянет». Мишка по-деревенски ферму называл фирмой. Она его не поправила – обидится. Как всегда,

скажет резко: «Ты же меня понимаешь?» Сидели они на кухне у жениха. Здесь всегда было нечисто, неприбрано, порог – хоть косарём скреби, столько на нём грязи налипло. Грязь Саша не любила с детства. Но не за тряпку же ей сейчас в чужом доме браться? Приходилось терпеть.

А в школе она ни с кем о предстоящем замужестве не разговаривала. Только раз Александра Михайловна улучила момент, когда директор был в учительской один, стеснительно сказала: «Я замуж выхожу! Леонид Александрович, приглашаю вас с женой ко мне на свадьбу». Тот помолчал немного, с грустью сказал: «Значит, это правда. Я слышал о вашей свадьбе, но надеялся, что сплетничают. – Директор смотрел на неё пристально и без обычной своей доброжелательной улыбки. – Вы губите себя, и я в этом деле не участник, я не смогу быть на вашей свадьбе», – ещё жёстче сказал он. Александра Михайловна опустила голову, кровь прилила к щекам, на глаза навернулись слёзы. «Уже и пиво варят», – растерянно шепнула она. «Да не жалко пива, милая вы девушка! Вас жалко. Михаил вам не пара. Не по себе дерево зарубает. Не вы его подтянете, он вас будет до своего уровня пригибать. С таким мужем не жизнь будет – мучение». Директор школы был старше Саши на каких-нибудь десять лет, но воевал на фронте, был ранен, и это делало его неизмеримо богаче жизненным опытом. «Вот что, дорогая девушка, ничего мне не говорите, а пообещайте, что перед свадьбой вы непременно выберете время и навестите в Спирдове вашего заболевшего ученика. Заодно проверите условия, в каких он живёт», – наконец-то директор школы улыбнулся ей привычной доброжелательной улыбкой. И Саша улыбнулась в ответ. Видела бы она со стороны, как печально выглядела!

Она и сама давно собиралась навестить Костю Смирнова. Да всё недосуг было. А тут в первый же выходной надела ловкие валеночки, пальтишко зимнее, протёртое, в новом демисезонном становилось уже холодно. Да и жалко тереть его по дорогам. Саша шагала через ставший уже зимним лес, по санной дороге в сторону Спирдова. Ни о чём плохом она не хотела думать, радовалась морозу, снегу яркому, тусклому и редкому в декабре солнышку. По пути даже пушистую ёлку присмотрела, хорошо бы такую в клуб, на Новый год.

Деревню Спирдово лес окольцовывал, зажимал в свои объятия. Костина изба оказалась самая бедная в посадке, с соломенной крышей, все остальные дома покрыты дранкой, был даже один под железом.

В избе у Смирновых оказалось ещё хуже. Сени такие грязные – вপুরе топором отскабливать.

Александра Михайловна, поскользнувшись на обледеневшем порожке, зашла в жилое помещение. Пахло чем-то кислым и острым. Костю она сразу увидела, он лежал в углу, на топчане без простыни, сверху на него было наброшено старое и затёртое лоскутное одеяло. Волосы его стали ещё лохматей, а лицо – меньше, и не серым оно казалось ей сейчас, а жёлтым.

«Ну, как ты, Константин?» – спросила учительница, краем сознания отметив, как фальшиво бодро звучит её голос. «Ничего», – выдал из себя улыбку Костя. Александра Михайловна решительно повернулась к Костиной матери, за её непростиранный подол держались двое полуголых карапузов: «Надо Костю в больницу отправлять», – сказала ей сухо. Она не могла понять, как может мать довести своего ребёнка до такого безнадежного состояния. «Как в «Подлиповцах» у Решетникова», – с ожесточенным отчаянием думала она.

Женщина, кажется, прочитала все чувства на лице молодой учительницы и нарочито спокойно, едва разжимая губы, ответила: «Бесполезно всё, не жалец он». Александра Михайловна задохнулась от негодования: «Да мы заберём у вас Костю». И хотела было продолжать, но её внимание привлёк какой-то непонятный звук с Костиного ложа – то ли стон, то ли плач. Она обернулась, увидела умоляющие глаза и, сдержав негодование, снова подошла к больному ребёнку. «Не отправляйте меня никуда, – умоляюще прошептал он. – В больнице я точно умру».

Всю дорогу из Спирдова она плакала. Никто не повстречался ей, некому было удивляться, о чём так разгоревалась учительница.

Она зашла в селе на медпункт, попросила фельдшерицу Зину сходить к больному, снести таблетки нужные и порошки. И в этот же вечер Александра Михайловна легко отказала Мишке. Тот попытался возражать, мол, пиво мать уже сварила, бражку поставила. «Выпьешь сам», – сказала строго, без сожаления и боязни обидеть несостоявшегося жениха.

Летом она уехала в Ленинград к родственникам, те познакомили её с солидным мужчиной, старше её на двенадцать лет, завхозом Пулковской обсерватории. В тот же год они поженились, и больше в Архангельское Александра Михайловна не приезжала. Прислала через несколько лет моим родителям коротенькое письмо и фотографию своей семьи: она, муж и маленький сын. Александра Михайловна очень похорошела, она постригла свои жиденькие косы, похудела и смотрелась настоящей горожанкой.

## РАЗГОВОР С УХА НА УХО

Сегодня на улице встретила свою землячку Валю Сергееву, старуху 75 лет. Как я помню, и в свои тридцать, и тридцать пять она была женщиной без возраста. Отчества за долгую жизнь она так и не приобрела. Да и к чему ей отчество? Всю жизнь она прожила дома, с родителями, нигде по своему убожеству не работала, только по хозяйству, ухаживала за коровой.

Потом старики Сергеевы с дочерью переехали в Мышкин. Сейчас Валя осталась совсем одна, копает и сажает большой огород. Вокруг дома у неё чисто, прибрано, наверное, так же и дома. Сергеевы – все очень аккуратные.

Валя страдает сильным косоглазием, один глаз у нее еще смотрит, другой – наглухо зарос бельмом. Она очень сутула, ходит, не сгибая колен, нелепо выбрасывая ноги в разные стороны. Глядя на неё, думаешь, что природа во время создания своего очередного творения вздремнула и вышел конечный продукт с большой недоделкой.

Когда мы жили по соседству в Архангельском, я с Валею не перемолвилась, наверное, и двумя словами. Да это и понятно – велика разница в возрасте. К тому же в силу своих физических недостатков Валя всегда сторонилась людей, была молчалива, угрюма. К концу жизни она, верно, смирилась со своими дефектами, а может, оценила, глядя на своих семейных сверстников, прелести своей, не замутненной тревогами жизни. Поэтому, встретившись, любит и поболтать. Хотя говорить с ней нелегко: Валя глуха как пень.

Вот и в этот раз она трогательно пытается улыбнуться своими тоненькими губами и кричит на всю улицу: «Денек-то какой хороший!» Весна её, старую, радует как ребёнка. Она с трудом приподнимает с сутулых плеч голову, вглядывается в маленькие клейкие листочки на только что распутившейся берёзе. «Валя, – пытаюсь пробиться я через её глухоту, – я недавно в Архангельском была». Тусклое её лицо озаряется тихой радостью. «Надя, помнишь, как хорошо там было? В берёзовых рощах в лапту играли!»

Не могу вспомнить Валю, играющую в лапту. Наверно, в детстве она и играла, как все, смеялась. Но представить себе это, глядя на безжизненное, ушедшее в себя лицо, трудно. Моя землячка, на секунду оживившись, снова угасает: «Говорят, совсем ничего в селе не остаётся. Дом Бакулиных завалился, а в нашем никто не живёт». Я киваю головой, и мне тоже невесело, вспоминается последняя поездка в родное село.

Как-то весной ближе к вечеру мы всей

семьёй на машине зятя надумали поехать в Архангельское.

Оставив машину на площадке перед школой, заглянули в храм Михаила Архангела. На нём, по стенам, появились новые глубокие трещины, грозящие развалить мощное сооружение на несколько частей. И это за какой-то месяц с прошлого приезда! В зимнем храме на первом этаже висело несколько бумажных икон. Остались после прошлогодней службы в честь местночтимой старицы Ксении. Слава богу, их никто не тронул. Только у одной снизу оторван большой клоч, верно, галки на гнездо утащили.

Постояли на землянку полу, помолились, посмотрели на уцелевшие кое-где фрески; на втором этаже, в летней церкви, они несокрушимо яркого небесного цвета. Когда выходили из боковых врат, я, заметив возле школы человека с двустволкой, поторопила своих. Нечего зря людей беспокоить. В селе живёт одна семья, да ещё, похоже, сторож охраняет школу, тоже доживающую последние дни. А лихих людей хоть отбавляй на большой дороге. Вот и нервничают мои земляки, демонстрируют, что они «вооружены и очень опасны».

Конечно, всего этого я Валею не рассказываю. Сквозь её глухоту пробиться трудно, но всё-таки поделиться виденным хочется, и я кричу ей громко: «Валя, грачей в наших рощах не стало, им нечем больше кормиться. Пашню не пахут, огородов в округе не сажают». Нас слышно, наверно, в центре Мышкина, так мы орём. Про такой разговор в народе есть поговорка: «Говорят с уха на ухо, а слышно с угла на угол». Но нам уже неважно, как мы выглядим со стороны. Да и пусть все слышат хоть вот эти Валины слова: «Какое село уничтожили! Сколько народа жило здесь!» Она принимается на память перечислять фамилии: Алексеевы, две семьи Смирновых, большая семья Бакулиных, две семьи Кусковых, Чистяковы, старухи келейницы: Арсентьевна, тётя Паша, тётя Катя. Она даже горячится, эта маленькая согнутая старушка, она никак не может понять, почему одичало без всяких видимых причин прежде людное, красивое, ухоженное место. Пропадает храм, закрывается школа.

Что тут скажешь? Я молчу, смотрю на Валю. На единственный её зрячий глаз набегают слезы. А из самой глубины души рвутся слова, она их от волнения картавит больше обычного: «Надя, как хорошо мы жили».

Град Китеж моего детства медленно погружается в забвение. Правда, стоит церковь Михаила Архангела. Ежегодные августовские службы по местночтимой старице Ксении Красавиной соби-

рают здесь всё больше и больше народа, много восстановлено в храме с 2006 года. Но ведь всё могло быть по-другому! Не время разрушало храм – люди.

Иконы, церковную утварь забрали, после того как закрыли церковь, охотники за антиквариатом, а дубовые половицы, кирпич крушили свои, архангельские, плотники и каменщики. Как-то моя мама приезжала повидаться с земляками и увидела неподъемные широченные доски в одном знакомом дворе, удивленно спросила хозяина: «Из церкви? Да зачем же тебе они, Иван Иванович?» Тот, лысоватый, голубоглазый, со всегда влажными губами, улыбнулся неопределённо: «Куда-нибудь пригодятся». Не пригодились: и сын его, и сам Иван Иванович, и его жена умерли, не доживши веку. Не совсем хорошо, как говорит народная молва, закончили свои земные дни и другие разрушители церкви.

Несколько лет назад и Валя ездила в Архангельское, чтобы посмотреть на родное пепелище. Постояла, крестясь, у храма, сходила на кладбище. Здесь зелено и тихо, цветёт на могилах земляника, поют птицы. Так вот куда переселилось большинство архангельских жителей! Учитель Буров, красивый, кудрявый. Шура Рыжая, её глаза на фотографии, как когда-то в жизни, сияют ожиданием счастья. Могилка с безымянным крестом – здесь похоронена тётя Паша. Маленький холмик Славика Воробьёва, над ним, утонувшим, плакали когда-то всем селом. А рядом лежит его мама, Валентина Алексеевна, страдальца.

□

### *Надежда Леонидовна КУСКОВА –*

*член Союза журналистов России.*

*Публиковалась в журналах «Север», «Урал», «Парус»,*

*«Русский путь на рубеже веков»,*

*в журнале ярославских писателей «Причал»,*

*в «Московском железнодорожнике», коллективных сборниках.*

*Автор трёх книг прозы.*

*Живёт в городе Мышкине Ярославской области.*

